

Оноре де Бальзак
Тайны княгини де Кадиньян

Оглавление

Тайны княгини де Кадиньян

После бедствий Июльской революции, которая разорила ряд аристократических семей, преданных двору, княгиня де Кадиньян, выказав большую находчивость, отнесла за счет политических событий и свое полное разорение, вызванное ее расточительностью. Князь покинул Францию с королевской семьей, оставив княгиню в Париже, огражденной благодаря его отсутствию от каких-либо посягательств, ибо тяжесть долгов, которые не могла покрыть продажа недвижимого имущества, падала только на него. На доходы майората был наложен арест. Словом, дела этой знатной семьи были в таком же плачевном состоянии, как и дела старшей ветви дома Бурбонов.

Женщина эта, столь известная под своим первым именем герцогини де Мофриньез, приняла тогда мудрое решение жить в полном одиночестве и желала заставить забыть о себе. Париж был в то время захвачен таким головокружительным потоком событий, что вскоре герцогиня де Мофриньез, погребенная в княгине де Кадиньян, — перемена имени, неизвестная большинству лиц, которые очутились на общественной арене после Июльской революции, — сделалась в нем как бы иностранкой.

Во Франции герцогский титул выше всех остальных, даже княжеского, хотя, по геральдическим понятиям, очищенным от всяких софизмов, титулы решительно ничего не значат и между дворянами существует полнейшее равенство. Когда-то королевский дом Франции тщательно оберегал это замечательное равенство, да и в наши дни оно, хотя бы внешне, еще заботливо поддерживается королями, которые дают своим детям простые графские титулы. Именно в силу этой системы Франциск I заменил все великолепие титулов, какие давал себе чванный Карл V, подписавшись: *Франциск, сеньор де Ванв*. Еще лучше сделал Людовик XI, выдав свою дочь замуж за дворянина без всякого титула Пьера де Боже. Впрочем, Людовику XIV удалось настолько разрушить систему феодальных установлений, что в его монархии титул герцога сделался высшей честью для аристократа и стал возбуждать наиболее сильную зависть. Во Франции, однако, существуют два или три княжеских рода, в которых этот титул, некогда связанный с богатством владений, ставится выше герцогского. Дом де Кадиньянов, в котором старшим сыновьям дается титул герцога де Мофриньез, тогда как младшие называются просто кавалерами де Кадиньян, принадлежит к числу этих избранных семейств. Князья де Кадиньяны, так же как некогда два принца из дома Роганов, имели право восседать на троне в своих владениях: они могли держать у себя на службе пажей и дворян. Эти разъяснения необходимы как для того, чтобы избежать глупой критики со стороны лиц, совершенно невежественных, так и для характеристики явлений общества, которое якобы сходит со сцены, откуда его выталкивают столько людей, совершенно его не постигших. У Кадиньянов в гербе *червленый щит с пятью черными ромбами, присоединенными боком, и разделенный полосой с девизом «Metini»*, с закрытой короной, без щитодержателя и шлемового покрова. Ныне благодаря громадному наплыву иностранцев в Париж и почти полному невежеству в геральдической науке титул князя входит в моду. Подлинными князьями являются, однако, только владетельные князья, которым присвоен титул высочества. Пренебрежение французского дворянства к княжескому титулу, равно как и причины, побудившие Людовика XIV отдать преимущество титулу герцога, помешали Франции потребовать титула высочества для немногих своих князей, если не считать наполеоновских. Вот причина, по которой князья де Кадиньян поставлены как бы ниже других князей в Европе.

Лица, принадлежавшие к так называемому обществу Сен-Жерменского предместья, своим почтительным молчанием покровительствовали княгине из уважения к ее имени, одному из тех, которые всегда будут в почете, к ее несчастьям, уже более не вызывавшим толков, и к ее красоте, тому единственному, что сохранилось у нее от всего исчезнувшего

¹ Теофиль Готье — французский писатель (1811—1872), друг Бальзака с 1835 г.

великолепия. Свет, украшением которого она прежде являлась, был ей признателен за то, что, затворившись в своем уединении, она как бы добровольно приняла монашество. Это благородное решение было для нее громадной жертвой — большей, чем для любой другой женщины. Во Франции незаурядные поступки воспринимаются всегда настолько остро, что княгиня, удалившись от света, вновь вернула себе все то, что утратила в общественном мнении в пору своей славы. Она продолжала встречаться лишь с одной из своих старых приятельниц, маркизой д'Эспар, и не посещала более ни многочисленных собраний, ни празднеств. Княгиня и маркиза видались лишь в первую половину дня и как бы втайне. Если княгиня приезжала обедать к своей приятельнице, маркиза никого более не принимала. Г-жа д'Эспар вела себя безукоризненно в отношении княгини: она переменила ложу в Итальянской опере, покинув первый ярус для бенуара только ради того, чтобы г-жа де Кадиньян могла приезжать в театр незамеченной и уезжать неузнанной. Лишь очень немногие женщины согласились бы на такой великодушный поступок, лишавший их удовольствия показывать в обществе свою соперницу, потерпевшую крушение, и называть себя ее благодетельницей. Все это избавляло княгиню от необходимости тратить на разорительные туалеты, и она могла негласно пользоваться каретой маркизы, от которой ей пришлось бы отказаться, если бы это делалось явно. Никто никогда не узнал, что за причины побудили г-жу д'Эспар так вести себя с княгиней де Кадиньян, но поведение маркизы отличалось высочайшим благородством, что проявлялось постоянно в тысяче мелочей, которые, каждая в отдельности, показались бы, может быть, пустяком, но в совокупности своей являли зрелище почти величественное.

Трехлетие, истекшее к началу 1832 года, успело набросить снежный покров на приключения герцогини де Мофриньез и настолько ее обелило, что потребовались бы значительные усилия памяти, если бы кто-нибудь захотел восстановить прискорбные обстоятельства ее прежней жизни. Из королевы, боготворимой столькими поклонниками, чье легкомыслие могло послужить темой для нескольких романов, она превратилась в женщину, еще обворожительно прекрасную, достигшую уже тридцати шести лет, но имевшую полную возможность давать себе только тридцать, хотя она и была матерью герцога Жоржа де Мофриньеза, юноши девятнадцати лет, красивого, как Антиной, и бедного, как Иов. Ему, несомненно, были уготованы самые блестящие успехи, и мать хотела прежде всего выгодно его женить. Быть может, именно в этой цели и заключался секрет близости, сохранившейся в ее отношениях с маркизой, салон которой считался первым в Париже, так что со временем княгиня могла бы подыскать там среди богатых наследниц жену для Жоржа. Княгиня предполагала, что ей придется прождать женитьбы сына пять лет; пять бесплодных и одиноких лет, ибо выгодный брак требовал того, чтобы все ее поведение было проникнуто величайшим благоразумием.

Княгиня жила в маленьком особняке на улице Миромениль, снимая за скромную плату первый его этаж. Здесь ее окружали остатки минувшей роскоши. Изысканность знатной дамы все еще сказывалась в обстановке. Красивые вещи, окружавшие ее, говорили о благородстве вкуса. Камин украшала великолепная миниатюра, портрет Карла X работы г-жи де Мирбель с выгравированной внизу надписью: «Пожаловано королем», и рядом — портрет герцогини Беррийской, столь исключительно благосклонной к ней. На одном из столов красовался драгоценный альбом, какой не посмела бы выставить напоказ ни одна из тех мешанок, что ныне верховодят в нашем обществе, стяжательном и суетном. Подобная смелость прекрасно обрисовывает характер хозяйки. В альбоме находились портреты близких друзей, а из них около тридцати свет называл ее любовниками. Эта цифра была клеветой, но в отношении десятка, как говорила маркиза д'Эспар, это было лишь справедливым и законным злословием. Портреты Максима де Трай, де Марсе, де Растиньяка, маркиза д'Эгриньона, генерала Монриво, маркизов де Ронкероль и д'Ажуда-Пинто, князя Галактиона, юных герцогов де Гранлье, де Реторе, красавца де Рюампре принадлежали кисти самых знаменитых художников, впрочем, сильно их приукрасивших. Так как княгиня принимала не более двух или трех лиц из этой коллекции, она весьма остроумно называла ее собранием своих ошибок. Несчастья сделали эту женщину хорошей матерью. В течение пятнадцати лет Реставрации она

так много веселилась, что не могла думать о своем сыне; но, удалившись от света, эта женщина, стяжавшая славу эгоистки, решила, что материнское чувство, доведенное до предела, послужит искуплением ее прошлой жизни в глазах людей чувствительных, готовых все простить безупречной матери. Она тем сильнее любила своего сына, что ей не оставалось любить никого другого. Впрочем, Жорж де Мофриньез был одним из тех детей, которые льстят материнскому тщеславию, и княгиня шла для него на всевозможные жертвы: она позаботилась о выезде и каретном сарае для Жоржа; в антресолях над этим сараем было устроено для него помещение с окнами на улицу, состоявшее из трех прелестно обставленных комнат, а себя она обрекла на некоторые лишения, лишь бы сохранить ему верховую лошадь, выезд и маленького лакея. Княгиня держала лишь горничную, а одна из ее прежних судомоек служила ей кухаркой. Лакею на службе герцога приходилось в то время круто. Тоби, бывший грум покойного Боденора (свет именно так подшутил над этим разорившимся щеголем), этот крохотный грум, который и в двадцать пять лет все еще считался четырнадцатилетним, должен был ухаживать за лошадьми, чистить кабриолет или тильбюри, выезжать с хозяином, убирать комнаты и находиться в передней княгини, докладывая о посетителях, когда ей случалось кого-нибудь принимать. Если вспомнить, чем являлась во времена Реставрации красавица герцогиня де Мофриньез, одна из королев Парижа, королева ослепительная, чье блестящее существование могло бы оказаться поучительным даже для самых богатых модниц Лондона, то было нечто непостижимо трогательное в зрелище ее убогого убежища на улице Миромениль, всего в нескольких шагах от принадлежавшего ей прежде огромного особняка, слишком великолепного даже для владельца самого большого состояния и потому проданного на слом дельцами, которые на месте его проложили улицу. Женщина, которой когда-то едва было достаточно тридцати слуг, которая устраивала приемы в самых роскошных парадных залах, какие только были в Париже, жила в очаровательнейших апартаментах и давала блестящие балы, ютилась теперь в квартире из пяти комнат: передней, столовой, гостиной, спальни и туалетной комнаты, обслуживаемая двумя женщинами.

— О! Она безупречна в отношении своего сына, — восклицала маркиза д'Эспар, эта тонкая сплетница, — и безупречна без всякой утрировки, она счастлива. Никто бы не поверил, что такая легкомысленная женщина может с такой настойчивостью следовать принятому решению; ее поведение одобрил и достойный наш архиепископ; он очень хорош с ней и только что убедил старую графиню де Сен-Синь сделать ей визит.

Признаемся, впрочем: нужно быть королевой, чтобы уметь отречься и благородно отрешиться от былого величия, которое окончательно никогда не утрачивается. Лишь те, кто сознает свое ничтожество, падая, выражают сожаление или же ропщут и возвращаются мыслью к невозвратно потерянному, ибо понимают, что дважды преуспеть нельзя. Вынужденная обходиться без редкостных цветов, среди которых она привыкла жить, — а они так выгодно оттеняли ее красоту, что нельзя было не сравнить ее с цветком, — княгиня удачно выбрала свою квартиру: здесь к ее услугам был прелестный садик, деревца которого и лужайка оживляли своей зеленью это мирное убежище. Она располагала рентой приблизительно в двенадцать тысяч ливров, но и этот скромный доход складывался из ежегодного пособия, выдаваемого старой герцогиней де Наваррен, теткой молодого герцога по отцу, что должно было продолжаться впредь до его брака, и второго пособия, присылаемого герцогиней д'Юкзель из глуши ее поместий, где она копила так, как умеют копить только старые герцогини, по сравнению с которыми и сам Гарпагон — дитя. Князь жил за границей, безвыездно оставаясь в распоряжении своих изгнанных повелителей, разделяя их злосчастную судьбу, служа им с бескорыстной преданностью, и был, пожалуй, наиболее разумным среди окружавших их лиц. Положение князя де Кадиньяна даже защищало княгиню в Париже. В дни попыток, предпринятых герцогиней Беррийской в Вандее², маршал,

² В дни попыток, предпринятых герцогиней Беррийской в Вандее... — Герцогиня Беррийская в 1832 г. сделала неудачную попытку поднять восстание в Вандее против Луи-Филиппа, чтобы доставить престол своему сыну.

которому мы обязаны завоеванием Африки³, именно у княгини собирал совещания главных вождей легитимистского лагеря, настолько безвестным стало к этому времени ее имя, от подозрений же правительства ее оберегала бедность. Видя, как приближается страшный день, когда рушатся надежды на любовь, — а это неизбежно с наступлением сорокалетнего возраста, с которым все почти для женщины кончается, — княгиня погрузилась в дебри философии. Она стала читать — она, на протяжении шестнадцати лет проявлявшая величайшее отвращение к предметам серьезным. Литература и политика ныне для женщин то же, чем была для них прежде набожность — последнее прибежище их притязаний. В высшем свете говорили, что Диана намеревается написать книгу. С тех пор как из очаровательной красавицы княгиня стала превращаться в женщину просто остроумную, она, не дожидаясь того, когда вполне завершится это превращение, сделала прием у себя необычайным отличием, чрезвычайно льстившим избраннику. Маскируясь этим образом жизни, она смогла обмануть одного из первых своих любовников, де Марсе, наиболее влиятельного представителя буржуазной политики, проводимой после июля 1830 года: она принимала его несколько раз вечером, в то время как маршал и несколько легитимистов втихомолку переговаривались в ее спальне о завоевании королевства, забывая, что оно несбыточно без помощи идеологии, этого неперемennого условия успеха. Подобная проделка была недурной местью со стороны хорошенькой женщины, она сумела посмеяться над премьер-министром, заставляя его играть роль ширмы в заговоре против его же правительства. Это приключение, достойное лучших дней Фронды⁴, составило содержание остроумнейшего письма, в котором княгиня дала герцогине Беррийской отчет о переговорах. Молодому герцогу де Мофриньезу удалось пробраться в Вандею и тайно оттуда вернуться, не выдав себя, но разделив при этом с герцогиней Беррийской угрожавшие ей опасности. Она, к несчастью, его отослала, когда показалось, что все дело проиграно, а возможно, что бдительность этого юноши и помешала бы совершиться предательству. Как бы велики ни были в глазах буржуазного общества ошибки герцогини де Мофриньез, поведение ее сына их, безусловно, искупило в глазах общества аристократического. Нельзя было не признать благородства и величия в поступке этой матери, подвергавшей опасности единственного сына и наследника исторического рода. Существуют личности — их обычно считают ловкими, — умеющие своими общественными заслугами искупать ошибки, совершаемые в своей частной жизни, и наоборот; однако княгиня де Кадиньян чужда была какого-либо расчета. Может быть, его и вообще нет у тех, кто поступает подобным образом. Такая непоследовательность наполовину обусловливается обстоятельствами.

В один из первых ясных дней мая 1833 года около двух часов пополудни маркиза д'Эспар и княгиня расхаживали, — нельзя сказать гуляли, — по дорожке, окаймлявшей единственный в этом садике газон. Солнце уже миновало зенит, и лучи его, отраженные стенами, нагревали воздух в этом маленьком пространстве, где все благоухало цветами, которые подарены были маркизой.

— Мы скоро лишимся де Марсе, — говорила г-жа д'Эспар княгине, — а с ним исчезнет и ваша последняя надежда на карьеру для герцога де Мофриньеза; ведь с тех пор, как вы его так остроумно провели, этот великий политик снова почувствовал к вам влечение.

— Мой сын никогда не примирится с младшей ветвью, — сказала княгиня, — хотя бы ему пришлось умереть с голода или даже мне самой работать для него. Однако он не безразличен Берте де Сен-Синь.

— Дети, — сказала г-жа д'Эспар, — не давали тех обязательств, что их отцы...

³ ...маршал, которому мы обязаны завоеванием Африки... — Речь идет о Луи де Шен де Бурмоне, военном министре при реакционном правительстве Полиньяка.

⁴ Фронда — борьба французской феодальной знати против абсолютизма (1648—1653); в придворных интригах во время Фронды большую роль играли женщины.

— Не станем говорить об этом, — сказала княгиня. — Если мне не удастся приручить маркизу де Сен-Синь, я помирюсь на том, чтобы женить моего сына на дочери какого-нибудь кузнеца, как сделал это жалкий д'Эгриньон.

— Любили вы его? — спросила маркиза.

— Нет, — ответила серьезно княгиня. — Правда, что наивность д'Эгриньона, носившую провинциальный отпечаток, я заметила несколько поздно или, если хотите, слишком рано.

— А де Марсе?

— Де Марсе играл мной, как куклой. Я была так молода! Мы никогда не любим мужчин, если они становятся нашими наставниками, — это слишком затрагивает наше мелкое тщеславие.

— А этот несчастный юноша, который повесился?

— Люсьен? Это был Антиной и великий поэт. Я боготворила его и могла бы стать с ним счастливой, но он любил девуку, и я уступила его госпоже де Серизи. Если бы он полюбил меня, разве я его отдала бы?

— Как! Вы — соперница какой-то Эстер?

— Она была красивее меня, — сказала княгиня. — Вот уже скоро три года, как я живу в полном одиночестве; и что же? в этом покое нет ничего тягостного. Вам одной я посмею сказать, что здесь я почувствовала себя счастливой. Я была пресыщена восхищением, утомлена, не знала радости, и чувства мои были задеты лишь слегка, так что волнение не коснулось моего сердца. Все мужчины, которых я знала, оказались ничтожными, мелочными, поверхностными; ни один из них не вызвал во мне даже самого легкого удивления. Ни у кого из них не было цельности чувства, величия, чуткости. Я хотела бы встретить кого-нибудь, кто мне внушил бы уважение.

— Уж не произошло ли с вами то же, что и со мной, моя дорогая, — спросила маркиза, — вы, может быть, никогда не встретили любви, хотя и искали ее?

— Никогда, — ответила княгиня, прерывая маркизу и коснувшись пальцами ее руки.

Они обе направились к простой деревянной скамье и уселись под кустом распускающегося жасмина.

— Как и вас, — продолжала княгиня, — меня, быть может, любили больше, чем любят других женщин; теперь я сознаю, что среди стольких увлечений я не узнала счастья. Я натворила массу безумств, но у них была цель, однако цель эта удалялась по мере того, как я за ней шла. В моем сердце, уже немолодом, живет — я это чувствую — еще нетронутая невинность. Вот именно: под столь большим опытом таится возможность первой любви, способной обманываться; несмотря на столько тревог и унижений, знаю, что я все еще молода и красива. Нам приходится любить, не зная счастья, и быть счастливыми, не любя; но любить и обладать счастьем — соединить эти два огромных человеческих наслаждения — чудо. Для меня оно не свершилось.

— Для меня также, — сказала г-жа д'Эспар.

— В моем убежище меня преследует ужасное сожаление: я развлекалась, но не любила.

— Какое невероятное признание! — воскликнула маркиза.

— Ах, моя дорогая, — ответила княгиня, — эти признания мы можем делать лишь друг другу; никто в Париже нам не поверит.

— А если бы, — продолжала маркиза, — нам обоим не было больше тридцати шести лет, мы, вероятно, не стали бы и друг другу верить таких тайн.

— Да, когда мы молоды, в нас слишком много самого глупого самодовольства, — сказала княгиня. — Мы подчас напоминаем тех бедных молодых людей, которые усердно действуют зубочисткой, чтобы заставить поверить, будто они отлично пообедали.

— Наконец мы объяснились, — кокетливо сказала г-жа д'Эспар, сопровождая свои слова очаровательным жестом, в котором было и простодушие, и многозначительность, — мне кажется, что мы еще достаточно молоды, чтобы вознаградить себя.

— Когда вы мне на днях рассказали, что Беатриса уехала с Конти, я думала об этом всю ночь, — сказала княгиня после некоторого молчания. — Нужно быть очень счастливой,

чтобы, как она, пожертвовать своим положением, своим будущим и навсегда отказаться от света.

— Она глупышка, — важно сказала г-жа д'Эспар, — мадмуазель де Туш была счастлива избавиться от Конти, Беатриса не поняла, насколько этот отказ со стороны женщины незаурядной, ни одной минуты не защищавшей своего мнимого счастья, обличает ничтожество Конти.

— Так что ж, она будет несчастной?

— Она уже несчастна, — продолжала г-жа д'Эспар. — Зачем покидать мужей? Не признает ли этим женщина свое бессилие?

— Вы, следовательно, не думаете, что госпожой де Рошфид руководило желание наслаждаться в тиши подлинной любовью, любовью, дающей те радости, что для нас с вами остались еще призрачными?

— Нет, она лишь собезьянничала с госпожи де Босеан и госпожи де Ланже; в век менее пошлый, чем наш, эти особы, будь сказано между нами, сделались бы, как и вы, впрочем, личностями столь же замечательными, как Лавальер, Монтеспан, Диана де Пуатье, герцогини д'Этамп и де Шатору.

— Ну уж! пожалуйста, без королей, моя дорогая. Ах! я хотела бы вызвать духов этих женщин и спросить у них...

— Но, — сказала маркиза, перебивая свою собеседницу, — нет необходимости принуждать разговаривать мертвых. Мы знаем живых женщин, обладающих счастьем. Я более двадцати раз заводила интимный разговор о вещах подобного рода с графиней де Монкорне: она вот уже в течение пятнадцати лет совершенно счастлива с этим незначашим Эмилем Блонде; ни одной неверности, ни одного скрытого помысла; у них и сегодня такие же отношения, как в первый день; но нас каждый раз беспокоили в самый интересный момент. В этих длительных привязанностях, как между Растиньяком и госпожой Нусинген, вашей кузиной де Камп и ее Октавом, скрывается тайна, но мы с вами, моя дорогая, этой тайны не знаем. Свет оказывает нам чрезвычайную честь, почитая нас за распутниц, достойных двора Регента⁵, а мы невинны, как две маленькие пансионерки.

— Я еще могла бы этим утешиться, — насмешливо воскликнула княгиня. — Но наша невинность куда хуже, и недаром чувствуешь себя униженной. Что поделаешь? Придется богу удовольствоваться этим разочарованием в искупление наших бесплодных поисков, ведь маловероятно, чтобы для нас расцвел поздней осенью цветок, которого мы не нашли ни весной, ни летом.

— Дело не в этом, — продолжала после короткого молчания маркиза, на миг погрузившись в воспоминания. — Мы еще достаточно красивы, чтобы внушить страсть, но мы никогда никого не убедим в нашей невинности и добродетели.

— Если бы это было ложью, ее бы вскоре, приукрашенную комментариями, поданную с милыми добавлениями, сообщающими ей правдоподобие, проглотили бы, как сладостный плод; но заставить поверить в истину! О! Величайшие люди потерпели на этом поражение, — прибавила княгиня с одной из тех лукавых улыбок, которые умела передать только кисть Леонардо да Винчи.

— Иногда и глупцы умеют любить, — продолжала маркиза.

— Но на это, — заметила княгиня, — даже у глупцов не хватит доверчивости.

— Вы правы, — сказала, смеясь, маркиза. — Однако нам следовало бы искать не глупца и даже не одаренного человека. Чтобы решить такую задачу, нам необходим человек гениальный. Одни гении способны на младенческую веру, свято чтут любовь и охотно дают завязать себе глаза. Посмотрите на Каналиса и герцогиню де Шолье. Если мы с вами и встречали людей талантливых, то они были, вероятно, слишком далеки от нас и слишком

⁵ *Регент* — герцог Филипп Орлеанский. Придворные нравы времен Регентства (1715—1723) отличались крайней распущенностью.

заняты, а мы в то время чересчур легкомысленны, увлечены, захвачены.

— Ах! я все же не хотела бы покинуть этот свет, не испытав радостей подлинной любви, — воскликнула княгиня.

— Недостаточно ее внушить, — сказала г-жа д'Эспар, — надо ее испытать. Я знаю немало женщин, которые служат лишь предлогом страсти, вместо того чтобы быть и причиной ее, и следствием.

— Последняя страсть, которую я внушила, была чем-то святым, возвышенным, — сказала княгиня, — перед ней открывалось будущее. На этот раз случай послал мне гениального человека, одного из тех, что принадлежат нам по праву, но которыми так трудно завладеть, ведь на свете больше красивых женщин, чем талантов. Но дьявол вмешался в эту историю.

— Расскажите мне, дорогая. Для меня это совершенно ново.

— Я только в середине зимы 1829 года обратила внимание на эту возвышенную любовь. Каждую пятницу я встречала в Опере, в партере, всегда на одном и том же месте молодого человека лет тридцати, который приходил туда ради меня; он глядел на меня огненными глазами, но их часто омрачала печаль — ведь нас разделяло такое расстояние, — и он понимал всю безнадежность своей любви.

— Бедный молодой человек! Влюбившись, глупеешь, — сказала маркиза.

— Почти в каждом антракте он пробирался в коридор, — продолжала княгиня, улыбнувшись дружеской шутке, которой маркиза ее перебила, — раза два, чтобы меня увидеть или показаться мне, он принимал к самому стеклу ложи, находящейся против моей. Если ко мне заходил посетитель, я замечала, как он прячется за дверью, откуда он мог украдкой бросить на меня взгляд; под конец он уже знал всех тех, кто принадлежал к моему обществу, и, если они направлялись к моей ложе, шел за ними, чтобы воспользоваться мигом, когда отворялась моя дверь. Бедному молодому человеку, вероятно, вскоре стало известно, кто я такая, потому что он знал в лицо господина де Мофриньеа и моего тестя. Я стала также встречать моего таинственного незнакомца и в Итальянской опере, где у него было кресло, с которого он любовался мною, не сводя с меня глаз в наивном экстазе: недурное зрелище. У выхода из оперы или театра Буфф я видела его, неподвижного среди толпы, как будто приросшего к тротуару; его толкали, но не могли сдвинуть с места. Глаза его несколько тускнели, когда он видел, что я опираюсь на руку кого-либо из моих избранников. Впрочем, ни единого слова, ни одного письма, ни одной попытки. Признайтесь, что это доказывает порядочное воспитание. Иногда, возвращаясь утром домой, я заставала этого человека на одной из тумб у ворот моего особняка. У этого влюбленного были красивые глаза, густая длинная борода веером и усы; выделялись только белизна скул и красивый лоб; одним словом, настоящая античная голова. Как вам известно, в Июльские дни князь защищал Тюильрийский дворец со стороны набережных. Он вернулся вечером в Сен-Клу, когда все было проиграно. «Моя дорогая, — сказал он мне около четырех часов, — я едва не был убит: один из инсургентов в меня целился, как вдруг молодой человек с длинной бородой, предводительствовавший нападавшими, — я, кажется, видел его у Итальянцев, — отвел ствол ружья». Выстрел поразил уж не знаю кого, кажется, сержанта полка, стоявшего в двух шагах от моего мужа. Этот молодой человек был, по-видимому, республиканцем. В 1831 году, когда я вернулась, чтобы поселиться здесь, я встретила его, — он стоял возле этого дома; несчастья мои его словно радовали, так как ему казалось, что они нас сближают, но со времени событий в Сен-Мерри⁶ я его больше не видела; он там погиб. Накануне похорон генерала Ламарка⁷ я с

⁶ ...со времени событий в Сен-Мерри... — 5 — 6 июня 1832 г. в Париже произошло республиканское восстание, направленное против режима Июльской монархии. Сигнал к восстанию был дан с колокольной монастыря Сен-Мерри. Примыкавшие к монастырю баррикады стали центром героического сопротивления республиканцев.

⁷ ...Накануне похорон генерала Ламарка... — Похороны генерала Ламарка, популярного своими либеральными выступлениями в печати, вылились в широкую республиканскую демонстрацию, ставшую

сыном вышла пройтись, и мой республиканец то следовал за нами, то опережал нас от церкви святой Мадлены до самого пассажа Панорамы, куда я направлялась.

— И это все? — спросила маркиза.

— Все, — ответила княгиня. — Ах да! В утро взятия Сен-Мерри явился какой-то мальчишка, попросил меня выйти к нему и передал мне письмо, написанное на простой бумаге и подписанное именем незнакомца.

— Покажите мне его, — сказала маркиза.

— О нет, моя дорогая. Любовь была слишком сильной и возвышенной в этом сердце, чтобы я могла выдать его тайну. Это письмо, короткое и страшное, тревожит мое сердце и сейчас, когда я о нем думаю. Этот мертвый вызывает во мне больше волнений, чем все живые, к которым я благоволила, и постоянно воскресает в моей памяти.

— Скажите его имя, — попросила маркиза.

— О, имя самое обыкновенное — Мишель Кретьен.

— Вы хорошо сделали, что сообщили его мне, — живо ответила маркиза д'Эспар, — я слышала о нем много разговоров. Этот Мишель Кретьен был другом знаменитого человека, которого вы хотели видеть, — Даниеля д'Артеза; он каждый год бывает у меня раза два. У Кретьена, действительно погибшего в Сен-Мерри, было немало друзей. Мне говорили, что он был одним из тех крупных политических деятелей, кому, как и де Марсе, не хватает лишь случая, который бы подхватил их, как воздушный шар, и сделал тем, чем они достойны быть.

— В таком случае лучше, что он умер, — сказала княгиня с грустным видом, скрывшим ее мысли.

— Хотите как-нибудь встретиться у меня вечером с д'Артезом? — спросила маркиза. — Вы поговорите с ним о вашем призраке.

— С удовольствием, дорогая.

Спустя несколько дней после этого разговора Блонде и Растиньяк, знавший д'Артеза, обещали г-же д'Эспар уговорить его прийти к ней обедать. Это обещание было бы, конечно, неосторожным, если бы не было упомянуто имя княгини. Встреча с ней не могла быть безразличной знаменитому писателю.

Даниель д'Артез, один из редких в наши дни людей, соединяющих прекрасные личные качества с недюжинным талантом, уже пользовался если не всей славой, заслуженной его произведениями, то, во всяком случае, тем почетом и уважением, которым вполне довольствуются избранные. Со временем его значение, несомненно, возрастет еще более, но в глазах знатоков оно своих пределов уже достигло: существуют такие писатели, место которых определяется сразу и в дальнейшем уже более не меняется. По происхождению бедный дворянин, д'Артез знал, что может рассчитывать только на свои личные достоинства. Он долго пробивал себе дорогу, завоевывая положение на литературной арене Парижа и нарушая этим волю богатого дяди, — тот оставлял его в тисках жесточайшей нужды и, лишь когда он стал знаменитостью, завещал ему состояние, в котором безжалостно отказывал, пока д'Артез был неизвестным писателем: пусть тщеславие возьмет на себя оправдание этой непоследовательности! Несмотря на неожиданную перемену, Даниель д'Артез не изменил своего образа жизни: над своими книгами он продолжал работать с той скромностью, которая достойна античных нравов, и обременил себя новыми трудами, согласившись принять звание депутата палаты, где он занял место на правой.

С тех пор как его осенила слава, он несколько раз бывал в свете. Один из его старых друзей, знаменитый врач Орас Бьяншон, познакомил его с бароном де Растиньяком, товарищем одного из министров и другом де Марсе. Эти политические деятели благородно взялись помочь Даниелю, Орасу и некоторым близким друзьям Мишеля Кретьена перенести тело убитого республиканца из церкви Сен-Мерри, чтобы похоронить его с честью. Признательность за услугу, столь противоречившую административной строгости, которая царила в ту эпоху, когда политические страсти вспыхнули с такой силой, привязала до

известной степени д'Артеза к Растиньяку. Товарищ министра и выдающийся премьер были слишком ловкими людьми, чтобы не воспользоваться этим обстоятельством: они привлекли на свою сторону нескольких друзей Мишеля Кретьена, правда, не разделявших его взглядов и примкнувших после того к новому правительству. Один из них, Леон Жиро, назначенный сначала докладчиком прошений в Совете, сделался затем государственным советником. Жизнь Даниеля д'Артеза была целиком посвящена работе, в обществе он бывал лишь изредка, и оно ему являлось как бы во сне. Дом его — монастырь, и он ведет в нем жизнь бенедиктинца: та же умеренность в обиходе, та же регулярность в занятиях. Его друзья знают, что женщины для него пока что лишь случайность, внушающая страх, — ему пришлось слишком часто их наблюдать, чтобы не опасаться; и все же это глубокое изучение женщины привело к тому, что он перестал понимать их, как бывает с теми мудрыми стратегами, которые всегда терпят поражение в местности, где непредвиденные условия изменяют и нарушают их научные аксиомы. Он остался самым чистосердечным ребенком, выказав себя в то же время и самым осведомленным наблюдателем. Это противоречие, на вид невозможное, вполне объяснимо для тех, кто мог измерить глубину пропасти, отделяющую способности от чувств: одни исходят от головы, другие — от сердца. Можно быть великим человеком и злодеем, так же как можно быть глупцом и в то же время вдохновенным любовником. Д'Артез был одним из тех избранных существ, у которых тонкость ума и обширность знаний не исключают ни силы, ни величия чувств. Его можно назвать человеком и действия и мысли, а это — сочетание, представляющее крайне редкое преимущество. Его личная жизнь отличается благородством и чистотой. До сих пор он тщательно избегал любви, но, хорошо зная себя, он заранее предвидел, как могущественно будут владеть им страсти. Долгое время превосходной защитой от них служила ему изнурительная работа, подготовившая прочную основу для его славных трудов, и холод бедности. Когда же пришел достаток, у него завелась самая пошлая и самая необъяснимая связь с женщиной, довольно, правда, красивой, но принадлежащей к низшему сословию и без всякого образования, без манер, и потому эта связь тщательно скрывалась от посторонних взглядов. Мишель Кретьен приписывал людям гениальным способность превращать самые грубые существа в сильфид, простушек — в умных женщин, крестьянок — в маркиз; чем большими совершенствами обладала женщина, тем более она должна была проигрывать в глазах, ибо не оставляла простора для воображения. Он считал, что любовь, представляющая простую потребность чувств для существ низших, для людей одаренных есть род морального творчества, самый обширный и самый привлекательный. Чтобы оправдать д'Артеза, он ссылался на пример Рафаэля и Форнарины⁸. Он мог бы указать и на себя самого: ведь и он видел ангела в герцогине де Мофриньез. Странная фантазия д'Артеза могла быть, впрочем, оправдана с помощью разных соображений: может быть, он сразу же отчаялся в возможности встретить в этом мире женщину, которая отвечала бы восхитительной грезе, лелеемой всяким умным человеком? Может быть, сердце его было слишком чутким, слишком чувствительным, чтобы вручить его светской женщине? Может быть, он предпочитал отдавать должное природе и сохранять иллюзии, придерживаясь своего идеала? Может быть, он отстранил любовь как несовместимую с его трудами и размеренностью монастырской жизни, где страсть все бы нарушила? В течение последних месяцев над д'Артезом посмеивались Блонде и Растиньяк, упрекавшие его в незнании света и женщин. По их мнению, его труды были уже достаточно многочисленны и успешны, чтобы он мог позволить себе развлечения; а он, располагая прекрасным состоянием, жил, как студент, ничем не пользовался: ни своим золотом, ни своей славой; ему были неизвестны изысканные наслаждения той благородной и тонкой страсти, какую внушают иные женщины знатного рода и безукоризненного воспитания; достойно ли его было то, что он знал только грубую сторону любви? Любовь, сведенная к тому, чем сделала ее природа, была в их глазах

⁸ ...пример Рафаэля и Форнарины — то есть союз с человеком иного социального положения. Форнарина, возлюбленная Рафаэля, была дочерью булочника.

глупейшей вещью в мире. Одна из заслуг общества состояла в том, что оно создало женщину там, где природа сотворила самку; что оно вызвало непрерывность желания там, где природа думала лишь о непрерывности рода; что оно, наконец, изобрело любовь, прекраснейшую религию человека. Д'Артезу были неведомы очаровательные тонкости разговора, те знаки привязанности, которые дает душа и мысль, желания, облагороженные светскими манерами, неведомы и те божественные формы, которые светская женщина придает самым грубым вещам. Он, может быть, и знал женщину, но не ведал божества. А женщине, чтобы внушить настоящую любовь, необходима бездна искусства, множество прекрасных одеяний, которые облекли бы ее душу и тело. Словом, расхваливая восхитительную развращенность мысли, что составляет чисто парижское кокетство, эти два соблазнителья жалели д'Артеза, обходившегося простым блюдом, без всякой приправы, и не отведавшего наслаждений высшей парижской кулинарии, и тем самым живо возбуждали его любопытство. Доктор Бьяншон, с которым д'Артез был откровенен, знал, что это любопытство наконец проснулось. Длительная связь великого писателя с заурядной женщиной не только не стала ему мила в силу привычки, но сделалась для него невыносимой, и лишь чрезмерная застенчивость, владеющая одинокими людьми, удерживала его от разрыва.

— Как можно, — говорил Растиньяк, — имея *красный с золотом щит, перерезанный с правого угла на левый, с бляхой и золотой монетой в каждом поле*, не дать этому старому пикардийскому гербу покрасоваться на дверцах своей кареты? У вас тридцать тысяч ливров ренты и доходы, которые приносит ваше перо; вы оправдали ваш девиз, который составляет игру слов, столь ценимую нашими предками: *Ars thesaurusque virtus*⁹, и вы не хотите показывать его на прогулке в Булонском лесу! Ведь мы живем в век, когда добродетель должна показываться.

— Если бы вы хоть читали свои произведения этой толстой Лафоре¹⁰, вашей отраде, я бы еще простил вам то, что вы с ней не порываете, — сказал Блонде. — Но, дорогой мой, если с точки зрения материальной вы едите черствый хлеб, то с точки зрения интеллектуальной у вас нет даже хлеба...

Эта маленькая дружеская война между Даниелем и его приятелями длилась уже несколько месяцев, когда г-жа д'Эспар попросила Растиньяка и Блонде уговорить д'Артеза приехать к ней на обед, сказав им, что княгине де Кадиньян чрезвычайно хочется видеть этого знаменитого человека. Подобные достопримечательности для некоторых женщин то же, что волшебный фонарь для детей — удовольствие для глаз, довольно, впрочем, скромное и таящее в себе разочарование. Чем сильнее выдающийся человек волнует наши чувства на расстоянии, тем меньше пленяет он их вблизи; чем более блистательным себе его мы представляем, тем более тусклым кажется его образ в действительности. В этом смысле разочарованная любознательность часто доходит до несправедливости. Ни Блонде, ни Растиньяк не могли обманывать д'Артеза, но они, смеясь, сказали, что ему представляется самый соблазнительный случай просветить свое сердце и познать высшие наслаждения, даваемые любовью знатной парижской дамы. Княгиня была положительно в него влюблена, уверяли они, и ему нечего было опасаться, он мог только выиграть от этой встречи; ничто не могло низвести его с пьедестала, на который его возвела г-жа де Кадиньян. Блонде и Растиньяк не видели ничего предосудительного в том, чтобы приписать княгине эту любовь, — такую клевету она могла снести, она, чье прошлое давало пищу стольким анекдотам! И тот и другой стали рассказывать д'Артезу о приключениях герцогини де Мофриньез, о ее первом легкомысленном поступке с де Марсе, ее втором опрометчивом шаге с д'Ажуда, которого она разлучила с женой, мстя таким образом за г-жу де Босеан, о ее третьей связи с молодым

⁹ Искусство в сочетании с богатством — добродетель (*лат.*).

¹⁰ *Лафоре* — имя служанки Мольера, которой он читал свои комедии, чтобы проверить производимое ими впечатление.

д'Эгриньоном, который сопровождал ее в Италию и страшно повредил себе этим; затем о том, как она была несчастна со знаменитым послом и счастлива с русским генералом; как ей пришлось быть Эгерией¹¹ двух министров иностранных дел и т.д. и т.п. Д'Артез ответил им, что знает о ней больше, чем они могли рассказать ему, так как о ней ему говорил их покойный друг Мишель Кретъен, который обожал ее тайно в течение четырех лет и чуть не лишился из-за нее рассудка.

— Я часто, — сказал Даниель, — сопровождал моего друга в Оперу, к Итальянцам. Несчастный бегом бежал по улицам вместе со мной вслед за ее выездом и любовался княгиней сквозь стекла кареты. Этой любви князь де Кадиньян обязан жизнью, Мишель помешал одному юноше его убить.

— Ну что же! у вас будет совершенно готовая тема, — сказал, улыбаясь, Блонде. — Такая женщина вам и нужна, она лишь из деликатности будет жестокой и очень мило посвятит вас в самые обольстительные тайны. Но берегитесь, она поглотила немало состояний! Красавица Диана принадлежит к числу расточительниц, которые не стоят ни одного сантима, но для которых затрачивают миллионы. Отдайтесь телом и душой, но не выпускайте из рук ваших денег, как старик в «Потопе» Жироде.

После этого разговора княгиня предстала, наделенная прелестью королевы, испорченностью дипломатов, овеванная некоей тайной, опасная, как сирена, исполненная бездонной глубины. Эти два умных человека, не способные предвидеть развязку своей шутки, сумели сделать из Дианы д'Юкзель самую чудовищную парижанку, самую ловкую кокетку и самую обольстительную светскую куртизанку. Хотя они и были правы, женщина, о которой они отзывались так легкомысленно, была для д'Артеза чем-то святым, чем-то священным, и любопытство его не нуждалось в том, чтобы его подстегивали: он сразу же дал согласие прийти, а обоим друзьям это только и было нужно.

Госпожа д'Эспар поехала к княгине, как только получила ответ.

— Чувствуете ли вы себя красивой, моя дорогая, расположены ли пококетничать? — сказала она ей. — Тогда приходите через несколько дней ко мне обедать; я вам подам д'Артеза. Наша знаменитость самого дикого нрава, он боится женщин и никогда не любил. Поговорите на эту тему. Он умен, и простота его вводит в заблуждение, так как устраняет всякое недоверие. Его проницательность ретроспективного свойства, она действует задним числом, и это расстраивает все расчеты. Сегодня вам удалось его захватить врасплох, но завтра вы его уже ни за что не проведете.

— Ах, — сказала княгиня, — если бы мне было только тридцать лет, как бы я позабавилась! Чего мне до сих пор не хватало, так это умного человека, которого я могла бы провести. У меня были только партнеры и никогда не было противников. Любовь была игрой, вместо того чтобы стать битвой.

— Дорогая княгиня, сознайтесь, что я достаточно великодушна; ведь в конце концов... своя рубашка...

Обе женщины, смеясь, взглянули друг на друга и в знак приязни пожали друг другу руки. Конечно, они знали друг о друге слишком важные тайны и не стали бы ссориться из-за какого-то одного мужчины или оказанной услуги; чтобы дружба между женщинами могла быть искренней и длительной, она должна быть скреплена маленькими преступлениями. Когда две приятельницы способны убить друг друга, но видят каждая в руке у соперницы отравленный кинжал, они являют трогательное зрелище гармонии, нарушаемой лишь в тот миг, когда одна из них нечаянно это оружие обронит.

Итак, через неделю у маркизы состоялся один из тех вечеров, или, как их называют, маленьких приемов, которые устраивают только для самых близких людей, так что никто не является без устного приглашения и ни один незваный не допускается в дом. Этот вечер был

¹¹ Эгерия — в античной мифологии — нимфа-прорицательница; по преданию, ее советами руководствовался легендарный римский царь Нума Помпилий.

устроен для пятерых: Эмиля Блонде и г-жи Монкорне, Даниеля д'Артеза, Растиньяка и княгини де Кадиньян. Мужчин было столько же, сколько и женщин, считая хозяйку дома.

Может быть, никогда еще самая тщательная подготовка к встрече так искусно не маскировалась видимостью случайности, как это произошло при знакомстве Дианы с д'Артезом. Княгиня и поныне считается великим знатоком туалета, составляющего для женщины первое из искусств. Она надела платье из синего бархата с широкими, свободно свисающими белыми рукавами и корсажем, вырез которого был затянут прозрачной тюлевой шемизеткой, собранной в легкие складки, отороченной каймой, выпущенной на четыре пальца от шеи, плечи ее были закрыты, как можно это видеть на некоторых портретах кисти Рафаэля. Горничная украсила ее прическу белым вереском, искусно расположив его в волнах ее светлых волос, которым княгиня тоже была обязана своей славой красавицы. Диане безусловно нельзя было дать больше двадцати пяти лет. Четыре года одиночества и отдыха вернули ей свежий цвет лица. Да и нет ли, впрочем, таких мгновений, когда желание нравиться увеличивает красоту женщин? Изменения в лице не бывают независимы от воли. Если сильные волнения имеют свойство превращать белые тона у людей меланхолического и сангвинического склада в желтые и окрашивать в зеленоватый цвет лица лимфатиков, нельзя разве признать за желанием, радостью, надеждой способность сделать цвет лица более светлым, позолотить живым блеском взгляд, оживить красоту светом, пронизывающим ясное утро? Белизна кожи, которой так славилась княгиня, приобрела оттенок зрелости, и это делало весь ее облик еще более величавым. В этот час ее жизни, отмеченной уже строгими раздумьями и долгими размышлениями о своей судьбе, ее задумчивый и прекрасный лоб чудесно гармонировал с ее взглядом, глубоким, неторопливым и величественным. Вряд ли самый искусный физиономист мог бы угадать расчеты и намерения под этой изумительной нежностью черт. Опыт и наблюдательность бывают введены в заблуждение и сбиты с толку спокойствием и тонкостью некоторых женских лиц; их следовало бы рассматривать в ту минуту, когда заговорят страсти, — а это не так легко уловить, — или тогда, когда они уже сказали свое слово, что становится бесполезным, ибо женщина тогда уже состарилась и больше не притворяется. Княгиня как раз и принадлежит к числу таких непроницаемых женщин, она может принять любое обличье: быть игривой, ребячливой, приводя в отчаяние своим простодушием; или проницательной, серьезной и способной даже вызвать беспокойство своим глубокомыслием. Она приехала к маркизе с намерением казаться простой и нежной женщиной, познавшей жизнь только по доставленным ею разочарованиям, женщиной с возвышенной душой, оклеветанной, но покорной судьбе — словом, обиженным ангелом. Она поторопилась приехать пораньше, с тем чтобы расположиться на козетке у камина, возле г-жи д'Эспар, так, как ей хотелось, в одной из тех поз, когда преднамеренность спрятана под безукоризненной естественностью, в одном из тех нарочито изученных положений, благодаря которым подчеркивается чудесная волнистая линия, начинающаяся у ноги, легко поднимающаяся к бедрам и затем продолжающаяся восхитительными округлостями до плеч, представляя взгляду все очертания тела. Обнаженная женщина являет, вероятно, меньшую опасность, нежели женщина, облаченная в одежду, если последняя расположена так искусно, что, все скрывая, вместе с тем все выставляет напоказ. Из утонченности, многим женщинам недоступной, Диана, к великому удивлению маркизы, прибыла в сопровождении герцога де Мофриньева. Сразу же взвесив все, г-жа д'Эспар пожала княгине руку в знак понимания.

— Я вас разгадала! Заставляя д'Артеза принять все трудности сразу, вам не придется думать о них впоследствии.

Графиня де Монкорне приехала с Блонде. Растиньяк привез д'Артеза. Княгиня не сделала знаменитому человеку ни одного из тех комплиментов, какими докучали ему обычно, но ее предупредительность, полная изящества и уважения к нему, была для нее, вероятно, пределом внимательности. Так, несомненно, держалась она с королем Франции, с принцами. Казалось, она счастлива, что видит этого великого человека, и довольна тем, что искала знакомства с ним. Люди со вкусом, как княгиня, отличаются главным образом своим умением

слушать, приветливостью, чуждой насмешки и представляющей в отношении вежливости то же, что добрые дела в отношении добродетели. Внимательность, с какой она слушала знаменитого писателя, льстила в тысячу раз больше, чем самые искусные похвалы. Маркиза просто, ничего не подчеркивая, представила их друг другу. За столом д'Артез сидел рядом с княгиней. Нисколько не подражая жеманницам, разыгрывающим преувеличенную воздержанность, она ела с прекрасным аппетитом и почла делом чести показать себя женщиной естественной, без всяких причуд. Она воспользовалась промежутком между двумя переменами, когда завязалась общая беседа, чтобы поговорить наедине с д'Артезом.

— Секрет удовольствия, которое я доставила себе знакомством с вами, — сказала княгиня, — заключается в желании узнать что-нибудь о вашем несчастном друге, погибшем за дело, чуждое нам; я ему многим обязана, но была лишена возможности высказать это и поблагодарить его. Князь де Кадиньян разделяет мои сожаления. Мне стало известно, что вы были одним из лучших друзей этого злополучного молодого человека. Ваша дружба с ним, такая искренняя и неизменная, послужила для меня рекомендацией. И вы не найдете странным, что я захотела узнать все, что вы могли бы рассказать мне про этого дорогого для вас человека. Если я привержена изгнанной династии и придерживаюсь монархических взглядов, то все же не принадлежу к числу тех, кто считает невозможным, чтобы республиканец обладал благородным сердцем. Монархия и Республика — две единственные формы правления, не подавляющие высоких чувств.

— Мишель Кретьен был ангел, сударыня, — с волнением ответил Даниель. — Я не знаю среди героев древности человека выше его. Было бы заблуждением принимать его за одного из тех республиканцев с ограниченным кругозором, которые хотели бы восстановить Конвент и все прелести Комитета общественного спасения; о нет, Мишель мечтал о швейцарской федерации для всей Европы. Признаем между нами, что после блистательного единоличного правления, особенно пригодного, как мне кажется, для нашей страны, лишь система Мишеля могла бы послужить к устранению войн в Старом Свете и переустройству общества на основах, совершенно отличных от той системы захватов, какая присуща феодальному миру. Поэтому республиканцы ближе всего подходили к его идеалам. Вот почему он стал на их сторону в июле у Сен-Мерри. Мы сохранили с ним тесную дружбу, хотя наши взгляды нас совершенно разделяли.

— Вот наивысшая похвала вашим характерам, — застенчиво произнесла г-жа де Кадиньян.

— За последние четыре года своей жизни, — продолжал Даниель, — он мне одному говорил о своей любви к вам, и это признание еще более скрепило узы нашей дружбы, прочные и без того. Он один, сударыня, любил вас так, как вы этого заслуживаете. Сколько раз мочил меня дождь, когда я вместе с ним, состязаясь в скорости с лошадьми, уносившими вас, сопровождал вашу карету до самого дома, лишь бы не потерять вас из виду, смотреть на вас... любоваться вами!

— Но, сударь, — сказала княгиня, — я чувствую, что должна буду вознаградить вас.

— Отчего здесь нет Мишеля? — с глубокой грустью ответил Даниель.

— Он, вероятно, любил бы меня недолго, — сказала княгиня, печально наклонив голову. — Республиканцы в своих идеях еще менее признают уступки, чем мы, абсолютисты, склонные к снисходительности. Он, несомненно, наделял меня всеми совершенствами и был бы жестоко разочарован. Нас, женщин, преследует клевета точно так же, как приходится сносить ее вам в литературной жизни, но мы не можем защитить себя ни славой, ни своими сочинениями. Нас принимают не такими, какие мы есть, а какими нас сделала молва. Ту, никем не разгаданную женщину, которая скрыта во мне, от него весьма скоро сумели бы заслонить лживым портретом женщины вымышленной, которая в свете сходит за настоящую. Он счел бы меня недостойной тех благородных чувств, какие он питал ко мне, и не способной его понять.

Тут княгиня покачала головой, встряхнув своими чудными светлыми локонами, увитыми вереском, и в этом движении была божественная красота. Невозможно передать,

сколько здесь выразилось скорбных сомнений и скрытых невзгод. Даниель понял все и с глубоким волнением смотрел на княгиню.

— Все же, — продолжала она, — в день, когда я его вновь увидела, спустя много времени после июльского мятежа, я чуть было не поддалась своему желанию взять его за руку, пожать ее перед всеми под перистилем Итальянского театра и подарить ему свой букет. Но я подумала, что этот знак благодарности будет истолкован неверно, как и другие благородные поступки, называемые ныне безумствами госпожи де Мофриньез; я же никогда не смогу их объяснить, ведь по-настоящему знают меня лишь мой сын и бог.

Эти слова, сказанные на ухо собеседника так, чтобы они не дошли до слуха остальных гостей, с выражением, достойным самой ловкой актрисы, должны были проникнуть до сердца; они и достигли сердца д'Артеза. Все это предназначалось не ему, знаменитому писателю, — она стремилась оправдать себя перед умершим. Ведь княгиню могли оклеветать, и потому она хотела знать, не омрачило ли что-либо ее образ в глазах того, кто ее любил. Сохранил ли он все свои иллюзии, умирая?

— Мишель, — ответил д'Артез, — был одним из тех мужчин, которые любят безраздельно и, если выбор их плох, страдают от этого, но никогда не откажутся от своей избранницы.

— И он так любил меня? — воскликнула она, всем видом своим выказывая блаженство и восторг.

— Да, сударыня.

— И я составила его счастье?

— В течение четырех лет.

— Когда женщина слышит такие вещи, она не может не испытывать чувства удовлетворенной гордости, — сказала княгиня, повернув к д'Артезу свое нежное и благородное лицо, хранившее стыдливо-смущенное выражение.

Один из самых ловких приемов таких комедианток состоит в том, чтобы принимать сдержанный вид, когда слова слишком выразительны, и заставлять говорить глаза, когда речь недостаточна. Эти искусные диссонансы, проскальзывающие в музыке их ложной или подлинной любви, неотразимо обольстительны.

— Скажите, — продолжала она, еще более понизив голос и убедившись в силе впечатления, произведенного ею, — не значит ли это — исполнить свое назначение? Составить счастье великого человека, не став преступницей?

— Не писал ли он вам об этом?

— Да, но мне хотелось в этом убедиться, потому что — поверьте мне, сударь, — он не ошибался, когда ставил меня так высоко.

Женщины умеют придавать своим словам особую значительность, они вкладывают в них какой-то невыразимый трепет, который расширяет их смысл и сообщает им глубину; если впоследствии очарованный собеседник не может дать себе отчет в том, что он слушал, цель вполне достигнута, ибо в этом и заключено свойство красноречия. Будь княгиня в этот миг увенчана короной Франции, ее чело не было бы более величественным, чем сейчас под чудесной диадемой волос, поднятых в косах наподобие башни и украшенных вереском. Эта женщина, казалось, шествует по волнам клеветы, как шествовал Спаситель по водам Тивериады, облаченная в саван любви, точно ангел, озаренный своим сиянием. Ничто решительно не говорило об усилении над собой или о желании представиться женщиной возвышенной и любящей: все было просто и естественно. Живой человек никогда не мог бы оказать княгине тех услуг, какие она извлекла из мертвого. Д'Артез, этот трудолюбивый отшельник, незнакомый со светом и отгороженный от него своими учеными трудами, поддавался влиянию этого тона и этих слов. Он был под обаянием этих изысканных манер, он любовался совершенной красотой княгини, созревшей в несчастьях и умиротворенной уединением, он поклонялся столь редкостному сочетанию тонкого ума и возвышенной души. Ему захотелось овладеть наследством Мишеля Кретьена. И началом этой страсти послужила, как у большинства подлинных мыслителей, — идея. Наблюдая за княгиней, изучая ее

профиль, ее нежные черты, стан, ногу, тонкий рисунок рук вблизи, а не на расстоянии, как это бывало прежде, когда он, сопутствуя своему другу, гонялся вместе с ним за ее каретой, он ощутил в себе дар двойного зрения — удивительное чувство, свойственное людям, которых воодушевляет любовь. С какой поразительной прозорливостью разгадал Мишель Кретьен сердце и душу княгини, осветив их пламенем любви! Значит, и приверженец идеи федерации был разгадан точно так же! И он был бы, несомненно, счастлив. Так княгиня приобрела в глазах Д'Артеза великое очарование, ее окружил поэтический ореол. За обедом писатель вспоминал полные отчаяния признания республиканца и его надежды, когда он почел себя любимым; только перед ним изливал он высокие славословия этой женщине, целые поэмы любви, внушенные истинным чувством. Даниель, сам того не зная, мог воспользоваться тем, что было подготовлено случаем. От роли наперсника к роли соперника человек редко переходит без угрызений совести, но д'Артез мог решиться на этот переход, не совершая преступления. В одно мгновение ему стала ясна огромная разница между женщинами высшего круга, этими цветами аристократического общества, и женщинами простыми, известными ему, впрочем, лишь по одному образцу. И он оказался захвачен врасплох в самых незащищенных, самых нежных тайниках своей души, своего таланта.

Требования света и преграда, которая воздвигнута была между д'Артезом и княгиней Кадиньян всем поведением Дианы и (не побоимся произнести это слово) ее величием, мешали ему в его неистовом и простодушном желании овладеть этой женщиной. Для человека, не привыкшего уважать ту, кого он любил, было что-то притягательное в этом препятствии — приманка тем более могущественная, что, попавшись на нее, он уже не мог выдавать своих чувств. Разговор, вращавшийся до десерта вокруг Мишеля Кретьена, оказался превосходным предложением как для Даниеля, так и для княгини, чтобы вести беседу вполголоса. Темой этой беседы были любовь, взаимное влечение, прозрение души; она стремилась предстать перед ним в виде женщины непризнанной и оклеветанной, а он — поскорее занять место мертвого республиканца. Может быть, этот искренний человек почувствовал, что уже менее сожалеет о друге? К тому времени, когда на столе появились, сверкая при свете канделябров, чудеса десерта, прикрытые букетами из живых цветов, которые разделяли гостей блестящей изгородью, богато расцвеченной фруктами и сладостями, княгиня решила заключить этот ряд признаний пленительной фразой, сопровождаемой одним из тех взглядов, от которых глаза белокурой женщины кажутся темными, и выражавшей ту мысль, что души Даниеля и Мишеля были души-близнецы. После этого д'Артез примкнул к остальному обществу, выказав почти ребяческое оживление и приняв фатоватый вид, достойный школьника. Переходя из столовой в маленькую гостиную маркизы, княгиня непринужденно оперлась на руку д'Артеза. В большой гостиной она замедлила шаг и, когда от маркизы, шедшей с Блонде, ее отделило достаточное расстояние, остановила д'Артеза.

— Я не желаю быть недоступной для друга нашего бедного республиканца, — сказала она ему. — И хотя я взяла себе за правило никого не принимать, вам одному на свете я позволю ко мне заходить. Не думайте, что это одолжение. Одолжения существуют лишь между чужими, а мне кажется, что мы с вами старые друзья; я хочу видеть в вас брата Мишеля.

Д'Артез мог только пожать руку княгини, не находя иного ответа. Когда подали кофе, Диана де Кадиньян кокетливым движением завернулась в большую шаль и поднялась. Блонде и Растиньяк были достаточно тонкими людьми и слишком хорошо знали свет, чтобы позволить себе выразить малейшее удивление или просить княгиню задержаться; но г-жа д'Эспар вновь усадила свою подругу, взяв ее за руку и сказав на ухо: «Подождите, пока пообедают слуги, карета еще не готова». И она сделала знак камердинеру, уносившему поднос с кофе. Г-жа де Монкорне поняла, что княгине и г-же д'Эспар нужно о чем-то переговорить наедине, и, подозвав к себе д'Артеза, Блонде и Растиньяка, она заняла их одним из тех сумасбродных словесных турниров, в которых так искусны парижанки.

— Ну, — сказала маркиза Диане, — как вы его находите?

— Это очаровательное дитя, он только что вышел из младенчества. Право, и на этот раз

предстоит, как всегда, победа без борьбы.

— Можно прийти в отчаяние, — сказала г-жа д'Эспар, — но есть средство.

— Какое?

— Позвольте мне стать вашей соперницей.

— Как вам угодно, — ответила княгиня, — я приняла решение. Талант есть свойство мозга, и я не знаю, каково тут участие сердца, об этом мы поговорим после.

Выслушав эту загадочную фразу, оставшуюся неразгаданной, г-жа д'Эспар вернулась к обществу, не подав и виду, что могла бы обидеться на это «как вам угодно», и не полюбопытствовала узнать, к чему приведет сегодняшняя встреча. Княгиня оставалась еще около часа, она сидела на козетке у огня в позе, преисполненной томности и непринужденности, какую Дидоне придал на своей картине Герен, слушала разговор гостей как человек, погруженный в размышления, взглядывала по временам на Даниеля, не скрывая восхищения, которое, впрочем, не выходило за пределы приличия. Как только подали карету, она исчезла, обменявшись рукопожатием с маркизой и кивнув головой г-же де Монкорне.

В течение всего вечера не было речи о княгине. Гости наслаждались тем своеобразным возбуждением, в котором находился д'Артез, развернувший перед ними сокровища своего ума. Несомненно, в лице Растиньяка и Блонде он встретил достойных собеседников, не уступавших ему в широте взглядов. Что до обеих женщин, они давно слыли самыми остроумными в высшем свете. Вечер оказался поэтому как бы отдыхом в оазисе, редкой удачей, которую вполне оценили эти люди, обычно стесненные приличиями света, требованиями салонов и политики. Существуют избранники, играющие среди людей роль благодатных светил, чей блеск освещает умы и чьи лучи согревают сердце. Д'Артез принадлежал к их числу. Писатель, достигший высот и там пребывающий, привыкает размышлять обо всем и порой забывает, что в свете нельзя всего говорить; ему невозможно обладать сдержанностью людей, постоянно бывающих в свете, но так как вольности, которые он позволяет себе, почти всегда отмечены печатью самобытности, никто на них не сетует. Эта свежесть, столь редкая в талантах, эта живость, исполненная простоты, сообщавшая облику д'Артеза столь благородную оригинальность, придали вечеру необыкновенное очарование. Д'Артез вышел вместе с бароном де Растиньяком, и тот проводил его домой. Разговор совершенно естественно зашел о княгине. Барон спросил д'Артеза, как понравилась ему княгиня.

— Мишель не случайно любил ее, — ответил д'Артез, — это необыкновенная женщина.

— Весьма необыкновенная, — насмешливо возразил Растиньяк. — По вашему голосу я слышу, что вы ее уже любите; не пройдет и трех дней, как вы будете у нее, и я достаточно знаю парижан, чтобы предвидеть, что между вами произойдет. Ну что ж! Я только умоляю вас, дорогой мой Даниель, не вмешивайте в ваши отношения своих денежных интересов. Любите княгиню, если чувствуете любовь к ней в вашем сердце, но помните о вашем состоянии. Она никогда ни у кого не взяла и не попросила ни одного ливра, для этого она слишком графиня д'Юкзель и слишком княгиня Кадиньян; но, насколько мне известно, помимо собственного состояния, весьма значительного, она растратила еще несколько миллионов. Как? почему? каким способом? никто, да и она сама, этого не знает. Я был тринадцать лет назад свидетелем того, как она за полтора года поглотила состояние одного премилого молодого человека и одного старого нотариуса.

— Тринадцать лет назад! — сказал д'Артез. — Сколько же ей лет?

— Вы разве не видели за столом ее сына, герцога де Мофриньева? — ответил, смеясь, Растиньяк. — Молодому человеку девятнадцать лет. А девятнадцать и семнадцать составляют...

— Тридцать шесть! — воскликнул пораженный писатель. — Я бы дал ей двадцать.

— Она возражать не будет, — сказал Растиньяк, — но не беспокойтесь на этот счет; в ваших глазах ей всегда будет двадцать лет. Вы войдете теперь в мир самый фантастический. Вот и ваш дом. Покойной ночи, — сказал барон, заметив, что карета въехала на улицу Бельфон, где находился красивый особняк д'Артеза, — мы увидимся на этой неделе у

мадмуазель де Туш.

Д'Артез позволил любви проникнуть в свое сердце, следуя примеру нашего дяди Тоби¹², то есть не оказывая ей ни малейшего сопротивления; его обожание исключало критику, восхищение было беспредельным. Княгиня, это прекрасное создание, одно из самых замечательных творений чудовищного Парижа, где все возможно как в отношении добра, так и в отношении зла, сделалась для него, — как бы ни опошлили несчастья нашего времени это слово, — ангелом во плоти. Чтобы понять внезапное превращение, которое пережил этот знаменитый писатель, нужно знать, в каком состоянии невинности одиночество и постоянный труд оставляют сердце и насколько любовь, сведенная к простой потребности и ставшая в тягость от общения с низкой женщиной, развивает желание и мечты, возбуждает сожаления и порождает необычайные чувства в самых высоких сферах души. Д'Артез был, в сущности, мальчишка, школьник — и это угадала проницательность княгини. Но почти такое же озарение совершилось в душе красавицы Дианы. Наконец-то она встретила человека незаурядного, о котором мечтают все женщины, пусть бы они и собирались сделать из него свою игрушку; авторитет, которому они согласны повиноваться, хотя бы ради удовольствия подчинить его себе; она нашла наконец исключительный ум, соединенный с непосредственностью сердца, которое еще не знало страсти; и, наконец, ей выпало необыкновенное счастье увидеть все эти богатства, заключенные в привлекательную форму. Д'Артез казался ей красивым, может быть, даже он и был таким. Несмотря на то что он приближался к критическому для мужчины возрасту — ему было тридцать восемь лет, — д'Артез сохранил еще свежесть молодости благодаря умеренной и целомудренной жизни, которую он вел, и, как все кабинетные люди и государственные мужи, отличался лишь умеренной полнотой. В юные годы в нем находили некоторое сходство с молодым Бонапартом. Это сходство еще сохранилось, насколько человек с черными глазами и волосами густыми и темными может походить на этого голубоглазого и русоволосого монарха; пламенное и благородное честолюбие, ранее горевшее в глазах д'Артеза, теперь как бы смягчилось под влиянием успеха. Думы, отягчавшие раньше его чело, теперь расцвели, лицо, прежде худощавое, пополнело. Те желтые оттенки, которые в молодые годы нужда накладывала на его лицо как отпечаток страстей, постоянно напрягающих свои силы в непрерывной и изнурительной борьбе, теперь сменились золотистыми тонами благополучия. Если вы внимательно взглянете в прекрасные лица античных философов, вы всегда подметите в них отклонения от совершенного типа человеческого лица, сглаженные, однако, привычкой к размышлению и постоянным спокойствием, столь необходимым для умственных занятий, и это определяет их своеобразие. Лица, наиболее полные тревоги, как лицо Сократа, приобретают в конце концов безмятежность почти божественную. Черты лица д'Артеза отличались величавой простотой и сочетались с выражением добродушия, детской непринужденности, трогательной благожелательности. Ему чужда была та всегда лживая вежливость, которой люди самые воспитанные и самые любезные пользуются в свете, чтобы придать себе качества, зачастую у них отсутствующие, и которая оскорбляет тех, кого они ввели в заблуждение. Ему, жившему отшельником, случалось иногда нарушать правила света; но странности его никогда никого не оскорбляли, делая еще более привлекательной его приветливость, — свойство людей, богато одаренных, которые умеют скрыть свое превосходство, не возвышаясь над уровнем окружающих, как Генрих IV, подставлявший свою спину детям¹³, своим умом делившийся с глупцами.

Вернувшись к себе, княгиня точно так же не спорила с собой, как и д'Артез не защищался

¹² *Дядя Тоби* — персонаж романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Дядя Тоби незаметно для себя подпадает под влияние вдовушки Вадман, стремящейся женить его на себе.

¹³ ...как *Генрих IV, подставлявший свою спину детям...* — Согласно устным рассказам о жизни Генриха IV, король очень любил детей и однажды даже принял испанского посла, продолжая играть со своим сыном в лошадки.

против ее чар. Все для нее свершилось: она, при всем своем опыте и всем своем неведении, полюбила. Если она и задавала себе вопрос, то лишь для того, чтобы спросить, заслужила ли она подобное счастье и чем угодила она небу, которое послало ей такого ангела. Она захотела быть достойной этой любви, ее увековечить, сделать ее навсегда своим достоянием и тихо окончить свою жизнь красивой женщины в смутно предвосхищаемом раю. Что до попыток сопротивляться, мелочных уступок, кокетства — она об этом даже не подумала. Занимало ее совершенно иное! Она поняла величие людей талантливых, угадала, что они не подчиняют избранных женщин обычным законам. Вот почему, в силу одного из тех мгновенных прозрений, какие свойственны женщинам с незаурядным умом, она решила уступить сразу, как только в нем заговорит желание. Насколько она по этой единственной встрече могла узнать характер д'Артеза, она подозревала, что желание это скажется не так быстро и даст ей время предстать той, кем она хотела, кем она должна была предстать в глазах такого божественного любовника.

Здесь начинается одна из тех неведомых комедий, что раздвигают наши представления о границах испорченности и разыгрываются в глубинах совести с участием двух существ, одно из которых становится жертвой обмана другого, одна из тех мрачных и комических драм, рядом с которой и «Тартюф» — сушая безделица, однако же они не относятся к области сцены и оказываются вполне естественными, легко объяснимыми, как следствие необходимости, хотя все в них — необыкновенно; это — страшные драмы, которые следовало бы назвать изнанкой порока. Княгиня начала с того, что послала купить сочинения д'Артеза, так как не читала из них ни строки; и тем не менее она целых двадцать минут рассуждала с ним о них — и без единого промаха! Теперь она прочла все. Затем она захотела сравнить прочитанное с тем, что было лучшего в современной литературе. В день, когда д'Артез пришел навестить княгиню, голова ее была переутомлена усердным чтением. Готовясь каждый день к этому визиту, она облеклась в многозначительный наряд, наряд, выражающий мысль, с которой невольно соглашаются глаза, хотя бы оставались непонятными смысл его и цель. Взору представлялось гармоническое сочетание серых тонов, нечто вроде полутраура, — прелесть, полная непринужденности, одежда женщины, которую к миру, где она томится, привязывают лишь естественные узы, может быть, чувства матери. Все в ней говорило о каком-то отвращении к жизни, которое, впрочем, не доводило ее до самоубийства, — она как бы лишь заканчивала положенный ей срок земной каторги. Княгиня встретила д'Артеза как женщина, ожидавшая его, и так, как будто он уже сто раз у нее бывал; она, оказывая ему честь, обращалась с ним как со старым знакомым и одним жестом ободрила его, указав на диванчик, где он мог сесть, пока она не закончит начатое письмо. Разговор завязался самым обыденным образом: говорили о погоде, о нынешнем кабинете, о болезни де Марсе, о надеждах легитимистского лагеря. Д'Артез был абсолютистом, княгиня не могла не знать образа мыслей человека, который заседал в палате в числе пятнадцати или двадцати депутатов, представлявших легитимистскую партию; она нашла повод рассказать, как она одурачила де Марсе; затем, коснувшись преданности г-на де Кадиньяна королевской семье и сестре короля, она перешла к этой теме и привлекла внимание д'Артеза к князю.

— В его пользу говорят по крайней мере его любовь к своим покровителям и его преданность. Роль, которую он играет в обществе, утешает меня после всех страданий, что он причинил мне в нашей семейной жизни. Впрочем, — продолжала она, искусно оставляя разговор о князе, — разве вы, который знаете все, разве вы не замечали, что у мужчин бывают два обличия: одно — в домашнем быту, в обществе жены, в личной жизни, и это лицо — настоящее; тут нет ни маски, ни притворства, тут незачем прикидываться, они предстают такими, каковы они есть, и часто оказываются отвратительны; между тем люди посторонние, свет, салоны, двор, монарх, политические круги видят их великими, благородными, великодушными, в ризах добродетели, в убранстве красноречия, полными превосходнейших качеств. Какая злая шутка! И после этого иногда удивляются улыбке некоторых женщин, их пренебрежительному обращению с мужьями, их равнодушию...

Тут ее рука соскользнула с ручки кресла, и этот жест прекрасно дополнил ее

недоконченную речь. Увидев, что д'Артез занят созерцанием ее гибкого стана, так красиво изогнувшегося в глубоком мягком кресле, любит ее платьем и изящной маленькой складкой, игриво оттеняющей лиф, — одной из тех вольностей туалета, которые так идут к тонким фигурам, никогда не проигрывающим от нее, княгиня снова подхватила нить своих мыслей, точно она вела разговор сама с собой.

— Я не стану продолжать. Вы, писатели, добились того, что превратили в посмешище женщин, считающих себя непонятыми, неудачно вышедших замуж, разыгрывающих драмы и кокетничающих своими чувствами, что кажется и мне последней степенью мещанства. Надо либо склониться и покориться, тогда все этим сказано, либо противиться и забавляться. В обоих случаях следует молчать. Правда, я не сумела ни вовсе покориться, ни до конца устоять; но, может быть, в этом заключалась еще более серьезная причина для молчания. Как бессмысленны жалобы женщин! Если женщины не оказались более сильными, значит, у них не хватило ума, такта, тонкости, и они заслуживают своей участи. Разве они не королевы Франции? Они потешаются над вами, как хотят, когда хотят и сколько хотят.

Она поиграла флакончиком с духами, и это движение было очаровательно, столько в нем таилось женской дерзости и насмешливой веселости.

— Я нередко слышала, как какие-то ничтожные создания досадовали на то, что они женщины, и желали быть мужчинами, а я всегда с сожалением смотрела на них, — продолжала она. — Если бы я могла выбирать, я все-таки предпочла бы остаться женщиной. Невелико удовлетворение от преимуществ, доставшихся благодаря силе и тому могуществу, которым вас наделяют вами же созданные законы. Но когда мы видим вас у наших ног, слышим вздор, который вы говорите, видим ваши безрассудные поступки, нет ли опьяняющего счастья в ощущении своей торжествующей слабости? Когда мы побеждаем, мы должны хранить молчание под страхом утратить свою власть. Победенные женщины также должны молчать из гордости: молчание раба приводит в ужас господина.

Весь этот милый вздор она говорила таким кротко насмешливым, таким нежным голосом, сопровождая его такими кокетливыми движениями головы, что д'Артез, совершенно незнакомый с подобными женщинами, сидел, точно куропатка, замороженная взглядом охотничьей собаки.

— Прошу вас, сударыня, — сказал он наконец, — расскажите мне, как мужчина мог заставить вас страдать, и, право же, не сомневайтесь, — там, где всякая женщина была бы пошлой, вы останетесь непревзойденной, пусть вы даже и не обладаете таким даром речи, чтобы придать занимательность поваренной книге.

— Вы, кажется, проявляете торопливость на путях дружбы, — сказала княгиня со значительной интонацией, встревожившей д'Артеза и сделавшей его серьезным.

Разговор принял другое направление. Становилось поздно. Бедный гений ушел, огорченный тем, что, проявив любопытство, задел это сердце, и веря в то, что эта женщина необычайно много вынесла.

Княгиня же всю свою жизнь провела в развлечениях и была настоящим Дон-Жуаном в юбке, с той единственной разницей, что не к ужину пригласила бы она статую командора и уж, конечно, с ней бы справилась.

Невозможно продолжать это повествование, ничего не сказав о князе де Кадиньяне, более известном под именем герцога де Мофринье, — иначе пропадет вся соль чудесных выдумок княгини и люди, чуждые этому миру, ничего не поймут в страшной парижской комедии, которую она собиралась разыграть ради мужчины.

Господин герцог де Мофринье, настоящий сын своего отца, князя де Кадиньяна, был худ и высок, обладал самой элегантной внешностью, отличался обходительностью и умением говорить прелестные остроты; он сделался полковником по милости божьей, хорошим солдатом — по милости случая, проявляя, впрочем, свою храбрость, как поляк, по всякому поводу, безрассудно и скрывая пустоту своего ума под прикрытием жаргона высшего общества. С тридцатишестилетнего возраста ему пришлось стать, как и господину его Карлу Х, совершенно равнодушным к прекрасному полу; это было ему наказанием за то, что он, так

же как и король, слишком умел нравиться в молодости. Кумир Сен-Жерменского предместья в продолжении восемнадцати лет, он, как и все наследники знатных родов, вел рассеянную жизнь, заполненную исключительно удовольствиями. Его отец, разоренный революцией, был восстановлен в должности по возвращении Бурбонов, получил управление одним из королевских дворцов, пенсию и оклады; однако, оставшись тем же знатным вельможей, как и до революции, старый князь очень быстро растратил это неверное состояние; суммы, полученные после издания закона о возмещениях¹⁴, поглотила роскошь, заведенная им в его огромном особняке, который он только и вернул из всего своего имущества и большую часть которого занимала его сноха. Князь де Кадиньян умер незадолго до Июльской революции в возрасте восьмидесяти семи лет. Он разорил свою жену и находился долгое время в натянутых отношениях с герцогом де Наварреном, который женился первым браком на его дочери и с которым он с большим трудом рассчитался. Герцог де Мофриньез находился в связи с герцогиней д'Юкзель. Около 1814 года, когда г-ну де Мофриньезу исполнилось тридцать шесть лет, герцогиня, зная, что он на отличном счету при дворе, выдала за него, несмотря на его бедность, свою дочь, владевшую рентой в пятьдесят или шестьдесят тысяч ливров, не считая того, что ей должно было достаться после герцогини. Таким образом, мадмуазель д'Юкзель стала герцогиней, и мать ее знала, что она в своей супружеской жизни будет, по всей вероятности, пользоваться значительной свободой. Герцог вскоре после неожиданного счастья, позволившего ему обзавестись наследником, предоставил жене полную свободу действий и стал развлекаться по разным гарнизонам, проводя зимы в Париже, делая долги, всегда оплачиваемые его отцом, придерживаясь, однако, полнейшей снисходительности в делах семейных, предупреждая герцогиню за неделю о своем возвращении в Париж, обожаемый в полку, любимый дофином, ловкий царедворец, немножко игрок, всегда, впрочем, непринужденный и простой; герцогиня так и не могла убедить его взять в любовницы певицу из Оперы для соблюдения приличий и из уважения к ней, как шутливо говорила она. Герцог, имевший право занять после отца его должность, сумел понравиться обоим королям — Людовику XVIII и Карлу X, доказав этим, что он умел извлекать пользу из самого своего ничтожества; однако и все его поведение, вся его жизнь были покрыты самым блестящим лаком; его обращение, благородство манер, осанка были безукоризненны; даже либералы его любили. Ему не удалось продолжить традиции Кадиньянов, знаменитых, по словам старого князя, тем, что они разоряли своих жен: ведь герцогиня сама поглотила свое состояние. Все эти обстоятельства были настолько хорошо известны в придворных кругах и в Сен-Жерменском предместье, что в последние пять лет Реставрации всякого, кто о них заговорил бы, подняли бы на смех, как если бы тот стал сообщать о смерти Тюренна или Генриха IV. Поэтому ни одна женщина не отзывалась об очаровательном герцоге иначе, как с похвалой; разве не был он безупречным в отношении жены, да и можно ли было мужчине относиться к своей супруге лучше, чем это делал Мофриньез, не предоставил ли он ей свободно распоряжаться ее состоянием и не защищал и не поддерживал ли он ее во всех обстоятельствах жизни? Из гордости, по доброте или из рыцарских чувств, но как бы то ни было, г-н де Мофриньез не раз спасал герцогиню в таких случаях, когда погибла бы всякая другая женщина, несмотря на все ее связи, на влияние старой герцогини д'Юкзель, герцога де Наваррена, ее свекра и тетки ее мужа. Ныне князь де Кадиньян считается одним из достойнейших представителей аристократии. Возможно, что верность в трудных обстоятельствах представляет одну из наиболее славных побед, какую царедворец может одержать над собой.

Герцогине д'Юкзель было сорок пять лет, когда она выдала свою дочь за герцога де Мофриньеза, поэтому она давно уже без ревности и даже с интересом следила за успехами своего прежнего друга. Отдавая свою дочь за него замуж, герцогиня вела себя с

¹⁴ Закон о возмещениях. — Речь идет о законе, принятом в 1825 г. о вознаграждении эмигрантов за конфискованные во время революции поместья. По этому закону дворянство получило один миллиард франков.

исключительным благородством, что смягчило безнравственность этой сделки. Все же недружелюбие придворных лиц и в этом нашло пищу для насмешки: утверждали, что замечательное поведение герцогини не дорого стоит, хотя прошло уже почти пять лет, как она сделалась набожной и предавалась раскаянию, наподобие тех женщин, которым нужно замолить много грехов...

С каждым днем княгиня проявляла все более и более замечательные познания в литературе. Благодаря чтению, которому она и днем и ночью предавалась с отвагой, достойной величайших похвал, она не боялась приступить к обсуждению и самых трудных вопросов. Д'Артез, пораженный этим, не был способен заподозрить Диану д'Юкзель в том, что она повторяет вечером прочитанное ею утром, как это делают многие писатели, и принимал ее за женщину высокого ума. Эти беседы удаляли Диану от ее цели, и она попыталась вернуться на почву признаний, столь осмотрительно покинутую ее возлюбленным; но, после того как она один раз отпугнула его, ей было нелегко заставить человека подобного склада вновь вернуться к ним. Все же, после месяца этих литературных диспутов и красивых платонических диалогов, д'Артез осмелел и стал приходить ежедневно в три часа. Он удалялся в шесть, чтобы вновь появиться вечером в девять и с постоянством нетерпеливого любовника оставаться до двенадцати или часа ночи. К тому времени, когда приходил д'Артез, княгиня бывала одета с большей или меньшей изысканностью. Взаимная верность, заботливость друг о друге — все в них обличало чувства, в которых они не смели признаться, ибо княгиня отлично угадывала, что этот взрослый младенец боялся объяснения столько же, сколько она его желала. Все же почтительность, облекавшая постоянные немые признания д'Артеза, невыразимо нравилась княгине. Они оба не могли не чувствовать, что сближение их с каждым днем усиливается, они ни о чем не условливались заранее и не предпринимали ничего, что могло бы препятствовать развитию их отношений, как это случается между влюбленными, когда одна сторона выставляет строгие требования, а другая — оказывает сопротивление искренне или только разыгранное из кокетства. Как и все неопытные люди в подобном положении, д'Артез был во власти волнующей нерешительности, вызванной силой желаний и страхом навлечь на себя неудовольствие. Когда молодая женщина разделяет эти чувства, она не в состоянии в них разобраться, но княгине и самой приходилось слишком часто вызывать их, чтобы теперь она не наслаждалась прелестью возникшего положения. Диане бесконечно нравилось это восхитительное ребячество, имевшее в глазах ее тем большее очарование, что она прекрасно знала, как положить ему предел. Она походила на великого художника, нарочно задерживающегося над едва набросанным этюдом в уверенности, что в минуту вдохновения он закончит картину, пока еще неясно вырисовывающуюся в его воображении. Не нравилось ли ей, заметив порыв д'Артеза, останавливать его, приняв величественную осанку? Она сдерживала тайные бури его юного сердца, вызывала и успокаивала их одним взглядом, протянув руку для поцелуя, или несколькими незначительными словами, произнесенными с волнением или нежностью в голосе. Благодаря этой искусной уловке, хладнокровно подготовленной и божественно разыгранной, она все глубже запечатлевала свой образ в душе этого незаурядного человека, которого ей нравилось превращать в младенца, доверчивого, простодушного, почти что глуповатого; стоило ей по-настоящему задуматься над этим, и она не могла не восхищаться его благородством, сочетаемым с такой невинностью. Эта игра, достойная опытной кокетки, незаметно привязывала ее самое к своему рабу. Наконец влюбленный Эпиктет вывел ее из терпения, и, уверившись, что она расположила его к величайшей доверчивости, она решила закрыть ему глаза повязкой самой непроницаемой.

Как-то вечером, когда пришел Даниель, княгиня сидела, облокотившись на маленький столик, и свет лампы как бы омывал ее красивую белокурую голову; она играла письмом, вертела его на скатерти. Дав д'Артезу как следует разглядеть этот листок, она его наконец сложила и спрятала за лиф.

— Что с вами? — сказал д'Артез. — Вы как будто чем-то встревожены?

— Я получила письмо от господина де Кадиньяна, — ответила она. — Как бы он ни был

виноват передо мной, я, прочтя это письмо, все-таки подумала, что он в разлуке с семьей и с сыном, которого любит.

Эти слова, сказанные тоном самым задушевным, обличали ангельскую чувствительность. Д'Артез был растроган до последней степени. Любопытство любовника едва ли не превратилось в любознательность психолога или литератора. Ему захотелось узнать, на какое величие души способна эта женщина, до каких пределов простирается ее дар всепрощения, и убедиться в том, что эти светские создания, обвиняемые в легкомыслии, в черствости сердца, себялюбии, могут быть ангелами. Голос его слегка дрожал, когда, вспомнив, что раз уж он пытался познать это небесное сердце и был отвергнут, он взял руку прекрасной Дианы, нежную, прозрачную руку с тонкими, точеными пальцами, и спросил:

— Не достаточно ли теперь окрепла наша дружба, чтобы вы могли рассказать мне о ваших испытаниях? Не потому ли вы задумались, что вспоминаются старые скорби?

— Да, — ответила она, и слово это прозвучало, как самая нежная нота, когда-либо извлеченная из флейты Тюлу.

Она снова погрузилась в задумчивость, и глаза ее заволоклись дымкой. Даниель, проникнутый торжественностью минуты, находился в тревожном ожидании. Фантазия поэта заставляла его видеть как бы облака, которые медленно рассеивались перед ним, раскрывая святилище, где ему предстояло лицезреть закланного агнца у ног господних.

— Так что же? — сказал он мягким и тихим голосом.

Диана взглянула на этого покорного просителя, затем потупила взор и опустила веки с видом самым целомудренным. Надо было быть чудовищем, чтобы заподозрить хоть тень лицемерия в том пленительном движении, каким лукавая княгиня вновь подняла свою очаровательную головку, еще раз пристально посмотрев в молящие глаза этого великого человека.

— Можно ли мне? И должна ли я? — промолвила княгиня, не удержавшись от жеста, в котором была нерешительность, и глядя на д'Артеза с такой божественной и мечтательной нежностью. — Мужчины так мало верят подобным вещам. И считают, что они не обязаны соблюдать тайну!

— Зачем же я здесь, если вы мне не доверяете? — воскликнул д'Артез.

— Ах! друг мой, — ответила она, вкладывая в этот возглас чудесный оттенок невольного признания, — когда женщина привязывается на всю жизнь, разве она способна рассчитывать? Речь не о том, что я могла бы вам отказать (а в чем бы я могла отказать вам?), но в том, что бы вы стали думать обо мне после того, как я все открою. Пусть я вам расскажу, в каком страшном положении очутилась я в мои годы, — но что подумаете вы о женщине, которая обнажила перед вами скрытые язвы брака, продала вам чужие тайны? Тюренн сдержал слово, которое дал вора, — так не вправе ли мои палачи ожидать и от меня такой же безукоризненной честности?

— Давали ли вы кому-нибудь слово?

— Господин де Кадиньян не счел нужным потребовать от меня соблюдения тайны. Так вы хотите больше, чем мою душу? О, тиран! Вы желаете, чтобы я из-за вас поступилась своей честью, — сказала она, бросив д'Артезу такой взгляд, как будто это ложное признание было ей дороже жизни.

— Вы, стало быть, считаете меня за человека совершенно заурядного, если опасаетесь чего-либо дурного с моей стороны, — сказал д'Артез с плохо скрытой горечью.

— Простите меня, друг мой, — сказала она, взяв его руку в свои, разглядывая ее, с необычайной нежностью проводя по ней пальцами. — Я знаю, чего вы стоите. Вы рассказали мне всю вашу жизнь, она благородна, она прекрасна, она возвышенна, она достойна вашего имени; может быть, в ответ и я обязана поведать свою жизнь? Однако я боюсь упасть в ваших глазах, раскрыв тайны, которые относятся не только ко мне. К тому же вы, человек уединения и поэзии, вы, может быть, не поверите, что свет бывает так гнусен. Ах! сочиняя ваши драмы, вы и не знаете, как далеко их превосходит то, что случается в семьях, по видимости самых дружных. Вы не представляете себе глубины иных несчастий, скрытых под блестящей

видимостью!

— Я знаю все, — воскликнул он.

— Нет, — продолжала она, — вы ничего не знаете. Скажите, вправе дочь предать свою мать?

Услышав эти слова, д'Артез почувствовал себя так, как человек, заблудившийся темной ночью в Альпах и заметивший, при первом проблеске утра, бездонную пропасть, над которой он занес ногу. Он с растерянным видом посмотрел на княгиню, ему стало холодно. Диана подумала, что и этот гений во власти предрассудка, но блеск его глаз ее успокоил.

— В конце концов, вы почти что стали моим судьей, — сказала она, всем своим видом выражая отчаяние. — Я могу говорить, потому что каждый, кто оклеветан, имеет право доказывать свою невиновность. Меня обвиняли, да и сейчас еще (если в свете вообще вспоминают бедную затворницу, покинувшую общество по его же настоянию!) обвиняют в таком легкомыслии, в стольких дурных вещах, что перед сердцем, которое готово мне дать приют, пусть будет мне позволено предстать в таком виде, в каком оно меня не отвергнет. Я всегда полагала, что попытки оправдаться только вредят, и поэтому считала недостойным объяснять свои поступки. Да и к кому я, впрочем, могла обратиться свои слова? Такие тяжелые муки должно верить лишь богу или кому-нибудь, кто близко к нему, — священнику либо своему второму «я». Ну что ж, если мои тайны не будут лежать в вашей груди, — сказала она, положив руку на сердце д'Артеза, — как они находились здесь (тут она чуть прижала пальцами верх своего лифа), вы, стало быть, не великий д'Артез и я ошиблась!

Слезу, увлажнившую глаза д'Артеза, Диана заметила сразу, но скользнула по ней взглядом так, что нельзя было и уловить движения ее зрачков. Так же проворны и четки движения кошки, хватающей мышь. Д'Артез, целых два месяца подчинявшийся строгому этикету, впервые посмел взять теплую и надушенную руку княгини, поднести ее к губам и покрыть ее всю, до самых ногтей, долгими поцелуями с таким утонченным сладострастием, что она, склонив голову, подумала, что по такому началу можно составить себе недурное мнение о литературе. Она решила, что любовь людей одаренных гораздо совершеннее, чем любовь фатов, светских людей, дипломатов и даже военных, не имеющих как будто другого занятия. Она была знатоком в таких вещах и успела убедиться в том, что характер любовника в известной мере проявляется в мелочах. Опытная женщина может прочесть свое будущее по мельчайшей черточке, как Кювье умел сказать, разглядывая отпечаток лапы на камне: эта лапа принадлежала животному такого-то размера, рогатому или безроговому, плотоядному, травоядному, земноводному и т.д., насчитывающему столько-то тысяч лет. Не сомневаясь, что она встретит у д'Артеза столько же изобретательности в любви, сколько он проявлял ее в своей манере письма, она сочла необходимым поднять его на высшую ступень страсти и упования. Она быстро, великолепным жестом, говорившим о глубоком волнении, отдернула руку. Скажи она: «Довольно! Вы хотите, чтобы я умерла!» — это прозвучало бы менее энергично. Одно мгновение она еще глядела в упор в глаза д'Артеза, и в этом взгляде заключались и счастье, и стыдливость, и робость, и доверие, и томление, и смутное желание, и целомудрие девственницы. О! В эту минуту ей было всего лишь двадцать лет! Но не забывайте: чтобы подготовить эту забавную сцену обольщения, она прибегла к помощи всего своего поразительного искусства одеваться и теперь сидела в кресле, подобная цветку, готовому распуститься под первой лаской солнца. Лживая ли, искренняя ли, — но она пьянила Даниеля.

Если позволительно выразить личное мнение, признаемся, что было бы восхитительно как можно дольше поддаваться такому обману. Конечно, Тальма на сцене нередко превосходил природу. Но не была ли и княгиня де Кадиньян самой великой актрисой своего времени? Этой женщине не хватало лишь внимательного зрительного зала. К несчастью, во времена, волнуемые политическими бурями, женщины скрываются — им, как водяным лилиям, необходимы безоблачное небо и нежнейшие зефиры, чтобы расцвести перед нашим восхищенным взором!

Час настал, и Диана должна была опутать этого великого человека сетью заранее

подготовленного, хитро сплетенного романа, а ему предстояло выслушать ее, как новообращенный первых веков христианства внимал наставлению апостола.

— Друг мой, моя мать, еще поныне живущая в Юкзеле, выдала меня замуж в семнадцать лет, в 1814 году (вы видите, какая я старая!), за господина де Мофринье за не из любви ко мне, а из любви к нему. Это была ее благодарность человеку — единственному, кого она любила, — за все счастье, которое он ей дал. О! Не удивляйтесь такой чудовищной сделке, подобные ей встречаются часто. У многих женщин чувства любовницы сильнее материнских чувств, как большинство женщин бывает лучшими матерями, нежели женами. Эти два чувства, любовь и материнство, такие, какими их сделали наши нравы, очень часто борются между собой в сердце женщины, и, если они не одинаково сильны, одно из них по необходимости умирает, благодаря чему некоторые исключительные женщины составляют славу нашего пола. Человек с вашим талантом должен это понимать, и, если такое положение вещей поражает глупцов, оно не становится от того менее истинным и — я разовью эту мысль дальше — объясняется различием характеров, темпераментов, привязанностей, положений. Например, я в эту минуту, после двадцати лет несчастий, разочарований, клеветы, тяжких невзгод, пустых развлечений, не бросилась бы я разве к ногам человека, который полюбил бы меня искренне и навсегда? И что же? Разве свет не осудит меня? А все-таки неужели двадцать лет страданий не оправдают тот десяток лет, который я еще проживу, оставаясь красивой, если я отдам их святой и чистой любви? Конечно, этого не будет, и я не настолько наивна, чтобы преуменьшать свои заслуги перед богом. Бремя палящей жары я несла в летний день до заката, я завершу свой подвиг и награду свою заслужу...

«Ангел!» — подумал д'Артез.

— Все же я никогда не питала неприязни к герцогине д'Юкзель за то, что она любила господина Мофринье больше, чем бедную Диану, которую вы перед собой видите. Мать моя видела меня очень мало, она меня забыла; но она дурно поступила со мною как женщина с женщиной, а то, что дурно между женщинами, становится чудовищным в отношениях матери и дочери. Матери, подобные герцогине д'Юкзель, ведут такой образ жизни, что дочерей они вынуждены держать вдали от себя. Меня вывели в свет лишь за две недели до моей свадьбы; можете судить о моей невинности! Я ничего не знала; я была не способна разгадать тайные причины этого союза. У меня было хорошее состояние: шестьдесят тысяч ливров годового дохода от лесных угодий в Ниверне, возле моего прекрасного замка д'Анзи, — революционеры забыли или не смогли его продать; господин де Мофринье был обременен долгами. Если позднее я и узнала, что значит иметь долги, то в то время я, при моем незнании жизни, и не догадывалась об этом. Мое состояние помогло уладить дела моего мужа. Господину де Мофринье было тридцать восемь лет, когда я вышла за него замуж, но ему следовало бы считать прожитые годы один за два, как военные люди считают годы, проведенные в походах. О! ему было семьдесят шесть лет! Мать моя и в сорок сохраняла еще свои притязания, и я подверглась двойной ревности. Как я жила десять лет?.. Ах! Если бы вы знали, что выстрадала эта бедная хрупкая женщина, возбуждая столько подозрений! Быть под охраной матери, ревнующей к своей дочери! Боже!.. Вам, пишущим драмы, никогда не придумать драмы такой мрачной, такой жестокой! Насколько я знаю литературу, драма представляет обычно последовательный ряд действий, речей, движений, устремляющихся к катастрофе; но то, о чем я вам рассказываю, — самая страшная катастрофа, к тому же непрерывно длящаяся! Это какая-то лавина, упавшая на вас утром, обрушивающаяся на вас вечером и снова повторяющаяся на следующий день. Я холодею, рассказывая сейчас об этом и вспоминая о подземелье без выхода, холодном и темном, в котором я жила. Если уж все вам рассказать, то и рождение моего бедного сына, впрочем, похожего на меня, как две капли воды... вас должно было поразить это сходство со мной? У него мои волосы, мои глаза, мой подбородок, мои зубы... И что же! его рождение — случайность или следствие сговора моей матери и моего мужа. Я долго после свадьбы сохраняла невинность, мой муж покинул меня на следующий же день, и я сделалась матерью, не будучи женой. Герцогине нравилось держать меня как можно дольше в состоянии неведения, а у матери перед дочерью огромные

преимущества, чтобы достигнуть такой цели. Я, бедное создание, выросшее в монастыре, подобно мистической розе, не имела представления о супружеской жизни, а позднее развитие позволило мне считать себя вполне счастливой; я радовалась добрым отношениям и согласию в нашей семье. Наконец первые радости материнства совершенно отвлекли меня от мыслей о моем муже, который мне совсем не нравился и ничего не делал, чтобы стать мне приятным, радости эти были тем более сильными, что я не подозревала о других. Мне столько твердили об уважении, которое мать должна питать к себе самой. Впрочем, молодые девушки всегда любят играть в маму. Ребенок заменяет тогда куклу. Обладать в том возрасте таким дивным цветком, а ведь Жорж был чудо как хорош! Как тут можно думать о свете, когда наслаждаешься счастьем кормить маленького ангела и ходить за ним! Я обожаю детей, когда они совсем маленькие, беленькие и розовые. О! я видела только своего сына, я жила только им, я не давала прислуге его одевать, раздевать, перепеленывать. Эти заботы, такие утомительные, когда у матери куча детей, были для меня лишь удовольствием. Но я не такая уж простушка, и как бы ни старались завязать мне глаза, через три или четыре года я стала понемногу прозревать. Можете себе представить, каково было мое пробуждение в 1819 году, через четыре года после свадьбы? «Братья-враги» — идиллия по сравнению с борьбой матери и дочери, если они поставлены в то положение, в каком оказались мы с герцогиней; тут я им обоим, ей и моему мужу, бросила вызов открытым кокетством, о котором заговорил весь свет... Бог весть как это случилось! Вы поймете, мой друг, что мужчины, из-за которых я была заподозрена в легкомыслии, имели для меня ценность кинжала, которым пользуются, чтобы ударить врага. Поглощенная мыслью о мщении, я и не замечала, что сама себя раню. Моя детская невинность мешала мне догадаться, что меня считают испорченным созданием, самой гадкой светской женщиной. Свет чрезвычайно глуп, чрезвычайно слеп, чрезвычайно невежествен; он проникает лишь в тайны, его развлекающие или удовлетворяющие его злорадству; но он закрывает глаза, чтобы не видеть вещи величественные и благородные. Все же мне кажется, что в это время и выражение моего лица, и взгляды, которые я бросала, говорили о возмущенной невинности, у меня вырывались жесты, которые составили бы находку для большого художника. Наверно, балы озарялись бурями моего гнева, потоками моего презрения. Ненужная поэзия! Все эти возвышенные поэмы создаются лишь в миг возмущения, что охватывает нас в двадцать лет! Позднее, под гнетом усталости, уже не возмущаешься, порок более не поражает, становишься малодушной, всего пугаешься! А я? Что ж! я неслась, неслась без оглядки! Мною была разыграна самая глупая роль на свете: я несла бремя преступлений, не получая выгоды от них. Мне доставляло такое удовольствие ронять себя в мнении общества! О! я прибегала к детским хитростям. Я поехала в Италию с молодым безумцем и бросила его, как только он заговорил о любви; но когда я узнала, что он погубил себя ради меня (он совершил подлог, чтобы достать денег), я полетела его спасать. Моя мать и мой муж, знавшие про эти обстоятельства, держали меня в узде, словно расточительницу. На этот раз я обратилась к королю. Людовик Восемнадцатый, этот бессердечный человек, был тронут: он дал мне сто тысяч франков из своих личных средств. Так был спасен из пропасти, куда он бросился ради меня, маркиз д'Эгриньон, молодой человек, которого вы, может быть, встречали в обществе, — он в конце концов нашел весьма богатую невесту. Эта история, причина которой мое легкомыслие, заставила меня задуматься. Я увидела, что первая становлюсь жертвой своего мщения. Свет был на стороне моей матери, моего мужа, моего свекра, и они, казалось, потакали моим безумствам. Моя мать, зная, что я слишком горда, слишком благородна, слишком д'Юкзель, чтобы вести себя недостойно, пришла наконец в ужас от того зла, которое мне причинила. Ей было тогда пятьдесят два года, она покинула Париж и поселилась в Юкзеле. Теперь она раскаивается в своих ошибках и искупает их преувеличенной набожностью и безграничной привязанностью ко мне. Но в 1823 году она оставила меня одну с господином де Мофриньезом. О! мой друг, вы, мужчины, не можете знать, что такое одряхлевший человек, пользовавшийся когда-то успехом. Каково жить с человеком, который привык к обожанию и, не находя у себя дома ни фимиама, ни кадила, умер для всего и от этого становится ревнив! Когда господин де Мофриньез стал

принадлежать лишь мне, я захотела быть хорошей женой; но я натолкнулась на величайшие трудности: желчный характер, все причуды бессилия, придирчивость ограниченности, тщеславие самодовольства, короче говоря, близость с этим человеком представляла самое томительное наказание в мире. Он обращался со мной, как с маленькой девочкой. Ему нравилось унижать по всякому поводу мое самолюбие, подавлять меня всей тяжестью своей житейской опытности, доказывать мне мое круглое невежество. Он оскорблял меня беспрерывно. Он сделал все, чтобы я его возненавидела, и дал мне право ему изменять; но все-таки три или четыре года меня обманывали мое сердце и желание поступать хорошо. А известно ли вам и то гнусное слово, которое заставило меня совершить и другие безумства? Можете ли вы себе представить всю чудовищность светской клеветы! «Герцогиня де Мофриньез вернулась к своему мужу», — говорили в свете. «Полноте! она это сделала от развращенности, воскресить мертвого — это тоже торжество, только этого ей еще не доставало», — так ответила моя лучшая подруга, та самая родственница, у которой я имела счастье встретить вас.

— Госпожа д'Эспар! — воскликнул Даниель, сделав брезгливый жест.

— О! Я ее простила, мой друг; к тому же это очень остроумно сказано, и я, может быть, сама повинна в эпиграммах еще более жестоких по адресу женщин столь же чистых, как и я сама.

Д'Артез вновь поцеловал руку этой святой женщины, которая так ужасно обрисовала свою мать, сделав из князя де Кадиньяна, вам знакомого, архиепископа Отелло, стала затем наговаривать на себя, себя же во всем обвиняя, и все только для того, чтобы придать себе в глазах доверчивого писателя ту девственность, которой и самая ограниченная женщина пытается во что бы то ни стало прельстить своего любовника.

— Вы понимаете, друг мой, что мое возвращение в свет наделало шума, и я захотела, чтобы он более не затихал вокруг меня. Я выдержала новые схватки, нужно было завоевать свою независимость и обезопасить себя со стороны господина де Мофриньеза. Теперь я уже из иных побуждений вела рассеянный образ жизни. Чтобы рассеяться, чтобы не видеть подлинной жизни за жизнью фантастической, я блистала, я устраивала празднества, я разыгрывала принцессу и наделала долгов. Дома я забывалась сном усталости, потом снова возрождалась для света, красивая, веселая, безрассудная; но в этой грустной борьбе фантазии с действительностью я разорилась. Мятеж 1830 года случился как раз тогда, когда я после этой жизни, подобной сказке из «Тысячи и одной ночи», встретила святую и чистую любовь, которую (я откровенна!) всегда мечтала познать. Согласитесь — не было ли это законным желанием для женщины, чье сердце, подавленное в силу стольких причин и событий, просыпается в такую пору, когда она чувствует себя обманутой, а видит вокруг себя столько женщин, счастливых в любви? О! Почему Мишель Кретьен держался так почтительно? И тут судьба посмеялась надо мной. Что можно сказать? В моем крушении я потеряла все, у меня не осталось никаких иллюзий; я отведала всех яств, кроме одного, но тут у меня уже нет более ни охоты, ни сил. Наконец, когда я оказалась вынужденной покинуть свет, он утратил для меня всякое очарование. В этом сказывается рука провидения, так же как и в той бесчувственности, что подготавливает нас к смерти (она сделала жест, выразивший благочестивое смирение). Все тогда послужило мне на пользу, — продолжала она, — бедствия, постигнувшие монархию, помогли мне похоронить себя под ее обломками. Мой сын служит мне во многом утешением. Материнская любовь заменяет нам все другие чувства, в которых мы обмануты! И свет еще удивляется моему затворничеству — а я в нем нашла блаженство. О! Если бы вы знали, как счастливо это бедное создание, которое вы видите перед собой! Жертвуя всем для моего сына, я забываю о радостях, неведомых мне и навсегда мне недоступных. Кто мог бы подумать, что жизненный опыт княгини де Кадиньян сводится к одной неприятной брачной ночи, а все приключения, приписываемые ей, — к вызову, который она, девочка, бросила двум сердцам, объатым безобразной страстью? Да никто. Теперь же я всего боюсь. Я, без сомнения, оттолкну и настоящее чувство, чью-нибудь подлинную и чистую любовь, помня о стольких обманах, о стольких несчастьях, как богатые люди, обманутые плутами, которые

притворялись несчастными, отвергают добродетельную нужду из отвращения к благотворительности. Все это ужасно, не правда ли? Но поверьте мне, то, что я вам рассказываю, — судьба многих женщин.

Последние слова сказаны были тоном легким и шутливым, напоминавшим о том, что перед вами — женщина светская и насмешливая. Д'Артез был ошеломлен. В его глазах люди, посылаемые судьями на каторгу — иной за убийство, иной за кражу с отягчающими обстоятельствами, иной — за подлог, казались теперь почти святыми по сравнению со светскими людьми. Эта страшная элегия, выкованная в арсенале лжи и закаленная в водах парижского Стикса, была исполнена с неподражаемой правдивостью. Писатель несколько мгновений созерцал ее, эту очаровательную женщину, опустившуюся в кресло, с подлокотников которого свисали ее руки — точно две капли росы, готовые скатиться с лепестка розы; она, казалось, была подавлена сделанным признанием, удручена своим собственным рассказом о пережитых горестях — словом, являла вид скорбного ангела.

— Судите же, — молвила она, внезапно выпрямившись и подняв руку; глаза ее метали молнии, пылая негодованием в память о двадцати годах, исполненных мнимой добродетели, — судите, как должна была подействовать на меня любовь вашего друга! Но по ужасной насмешке судьбы... а быть может, бога... ведь тогда мужчина, но мужчина, достойный меня, сознаюсь вам, не встретил бы у меня сопротивления, настолько я жаждала счастья! И что же, он умер, умер, спасая жизнь — кому?... господину де Кадиньяну! Не удивляйтесь же, если видите меня задумчивой...

То было последней каплей. Бедный д'Артез не выдержал; он встал на колени, он припал головой к рукам княгини, он плакал, проливая те тихие слезы, какие пролили бы ангелы, если бы они умели плакать. Так как голова его была опущена, г-жа де Кадиньян могла разрешить себе лукавую улыбку торжества, мелькнувшую на ее губах, улыбку, какую мы увидели бы у обезьяны, выполнившей сложный фокус, если бы обезьяны смеялись... «Ну, теперь он мой», — подумала она.

И действительно он принадлежал ей.

— Но ведь вы... — проговорил он, приподнимая свою красивую голову и глядя на нее влюбленными глазами.

— Дева и мученица, — подсказала она, улыбаясь пошлости этой старой шутки, но придавая ей чарующий смысл благодаря улыбке, полной жестокой веселости. — Если вы видите, как я смеюсь, то это потому, что я думаю о княгине, которую знают в обществе, о той герцогине де Мофриньез, которой приписывают и де Марсе, и этого гнусного Максима де Трай, политического разбойника, и ничтожного глупца д'Эгриньона, и Растиньяка, и Рюампре, и послов, и министров, и русских генералов, и — как знать? — всю Европу! Этот альбом, составленный мной в убеждении, что люди, восхищавшиеся мной, мои друзья, вызвал так много толков. О! Это ужасно. Не могу понять, как это я допускаю, чтобы мужчина лежал у моих ног: презирать их всех я должна была бы, да, презирать!..

Она поднялась и величественной поступью направилась к нише окна.

Д'Артез вновь сел на скамеечку у камина, не смея последовать за Дианой; но, глядя на нее, он заметил, что она вынула платок, но не высморкалась. Да и станет ли сморкаться истинная княгиня? Диана пыталась сделать невозможное, чтобы заставить поверить в свою чувствительность. Д'Артез решил, что его ангел плачет, он бросился к ней, обнял ее, прижал к сердцу.

— Нет, оставьте меня, — сказала она шепотом, еле слышным, — меня слишком одолевают сомнения, для меня уже все кончено. Примирить меня с жизнью — это превыше человеческих сил.

— Диана! Я, я буду любить вас! Любить за всю вашу загубленную жизнь!

— Нет, не говорите со мной так, — ответила она. — Я дрожу, и мне сейчас так стыдно, как будто я виновата в самых тяжких грехах.

В эту минуту она казалась невинной девочкой и все же была величественна, царственна, благородна, точно королева. Невозможно описать действие, которое эта игра, столь искусная,

что она превращалась в чистую правду, производила на душу такого неискушенного и искреннего человека, как д'Артез. Великий писатель был нем от восхищения, он стоял в нише окна, не решаясь что-либо предпринять, ожидая хоть слова, меж тем как княгиня ожидала поцелуя; но он боялся оскорбить свое божество. Когда ей стало холодно, она возвратилась на прежнее место и уселась в кресло; у нее мерзли ноги.

«Это протянется долго», — думала она, глядя на Даниеля и всей своей позой, всей ясностью чела выражая недостижимость добродетели.

«Да женщина ли она? — спрашивал себя этот вдумчивый наблюдатель человеческого сердца. — Как с ней быть?»

Они просидели до двух часов утра, разговаривая о всяких пустяках, которым женщины незаурядные, вроде княгини, умеют сообщать необыкновенное очарование. Диана настаивала на том, что она слишком опустошена, слишком стара, слишком принадлежит прошлому; д'Артез же доказывал ей, в чем она, впрочем, была совершенно убеждена и сама, что кожа у нее самая нежная, самая бархатистая, самая белоснежная, самая благоуханная, что она молода и ее красота в расцвете. Они болтали, переходя от одного пустяка к другому, от одной мелочи к другой, приблизительно так: «Вы это думаете?» — «Да вы с ума сошли». — «Вот это значит желание». — «Через две недели вы увидите меня такой, какая я есть». — «В конце концов я приближаюсь к сорокалетнему возрасту. Можно ли любить такую старую женщину?» Красноречие д'Артеза, пылкое и мальчишески неуклюжее, было уснащено самыми преувеличенными эпитетами. Слушая, как этот остроумный писатель изрекает армейские глупости, княгиня сидела с растроганным видом, словно боясь проронить слово, но в душе смеясь.

Когда д'Артез очутился на улице, он спросил себя, не следовало ли ему быть менее почтительным. Он перебрал в своей памяти все эти странные признания, нами сильно сокращенные по необходимости, так как понадобилась бы целая книга, чтобы изложить их полностью во всем их медоточивом изобилии и передать мимику, сопровождавшую их. Проницательность этого человека, столь безыскусственного и глубокого, была введена в заблуждение безыскусственностью романа, глубиной его и всем тоном княгини.

«Это верно, — говорил он сам с собою, будучи не в состоянии заснуть, — в свете происходят такие драмы; свет скрывает подобные ужасы под цветами своей изысканности, под кружевом своего злословия, под остроумием своей болтовни. Но нам, кроме правды, ничего и не выдумать. Бедная Диана! Мишель предчувствовал ее загадку, он говорил, что под этим слоем льда скрыты вулканы! Бьяншон и Растиньяк правы: когда человек, полюбив женщину, чудесно воспитанную, умную, чуткую, может примирить вершины идеала и удовлетворенное желание, счастье его должно быть несказанно». И д'Артез принимался измерять глубину своей любви и находил ее беспредельной.

На следующий день, около двух часов, г-жа д'Эспар, уже более месяца не видевшая княгини и не получившая от нее за это время ни строчки, приехала к ней, движимая чрезвычайным любопытством. Ничто не могло быть забавнее, чем первые полчаса беседы этих двух лукавых существ. Диана д'Юкзель не меньше боялась завести разговор о д'Артезе, чем надеть желтое платье. Маркиза кружила около этого вопроса, как бедуин около богатого каравана. Диана забавлялась, маркиза досадовала. Диана выжидала, она хотела заставить служить себе свою подругу, сделать из нее свою гончую собаку. Из этих двух женщин, столь знаменитых в современном обществе, одна была сильнее другой. Княгиня стояла на голову выше маркизы, и та внутренне признавала это превосходство. В этом, быть может, и заключался секрет их дружбы. Более слабая прикрывалась своей лицемерной привязанностью, чтобы подстеречь час, так долго ожидаемый всеми слабыми, когда можно схватить сильного за горло и оставить на его теле след укуса, нанесенного с веселым сердцем. Диана это понимала. Весь свет был введен в заблуждение нежностями этих двух подруг. В ту минуту, когда княгиня почуяла, что приятельница вот-вот задаст вопрос, она сказала ей:

— Итак, моя дорогая, вам обязана я счастьем, огромным, совершенным, бесконечным, божественным.

— Что вы хотите сказать?

Помните, о чем мы три месяца тому назад говорили в этом садике на скамейке под кустом жасмина, греясь на солнце? О! Любить умеют только истинные таланты. К моему великому Даниелю д'Артезу я рада применить слова, сказанные герцогом д'Альбой Екатерине Медичи: «Голова одного лосося дороже голов всех лягушек».

— Теперь меня более не удивляет, что вы совсем исчезли, — сказала г-жа д'Эспар.

— Обещайте мне, мой ангел, не говорить ему ни слова про меня, если вы его увидите, — сказала княгиня, взяв маркизу за руку. — Я счастлива! О, счастлива свыше всякой меры, а вы знаете, что могут сделать в свете одно-единственное слово, одна шутка! В слово умеют вложить столько яда, что оно убивает! Если бы вы знали, как всю последнюю неделю я желала подобной страсти и для вас! Как сладко для нас, женщин, особенно после столь долгих исканий, закончить свою жизнь таким великолепным торжеством, опочить в любви пылкой, чистой, преданной, полной, цельной.

— Почему вы просите, чтобы я хранила верность лучшей моей подруге? — сказала г-жа д'Эспар. — Так вы считаете меня способной на злую шутку?

— Когда женщина владеет таким сокровищем, естественная боязнь его утратить внушает мысли, полные страха. Я говорю нелепости, дорогая, простите меня.

Через несколько минут маркиза ушла, и, глядя ей вслед, княгиня сказала про себя: «Как же она меня отделает! Уж лучше бы она сказала про меня все. Но чтобы ее избавить от труда похищать Даниеля, я ей пришлю его».

Почти сразу же — было три часа — пришел д'Артез. В середине занимательной беседы княгиня остановила его на полуслове и положила свою прекрасную руку на его рукав.

— Простите, друг мой, — сказала княгиня, прерывая его, — я могу забыть, а это хоть и может показаться пустяком, имеет первостепенное значение. Вы не были у госпожи д'Эспар с того дня, стократ благословенного, когда я вас встретила у нее; сходите к ней, не ради себя, не из вежливости, но для меня. Возможно, что она из-за вас сделалась моим врагом, если случайно узнала, что с тех пор, как мы у нее обедали, вы почти не покидали моего дома. К тому же, мой друг, я бы не желала, чтобы вы пренебрегали вашими светскими связями, занятиями и трудами. В том опять бы нашли повод оклеветать меня. Да и чего не скажут? Что я вас держу на привязи, я одна занимаю ваши мысли, я боюсь сравнений, я хочу, чтобы еще раз все заговорили обо мне, я принимаю все меры, чтобы не упустить своей победы, — ведь я знаю, что она последняя. Кто может отгадать, что вы мой единственный друг? Если вы любите меня так, как говорите, вы заставите свет поверить в то, что мы только брат и сестра. Вернемся же к нашему разговору.

Необычайная мягкость жестов, с какой эта очаровательная женщина поправляла на себе наряд, чтобы и в падении сохранить все свое изящество, навсегда покорила д'Артеза. Было что-то невыразимо тонкое и чуткое во всем ее обращении, трогавшее его до слез. Княгиня нисколько не подходила под мерку тех расчетливых мещанок, которые слишком мелочны, чтобы уступить сразу, до конца она проявляла величие беспримерное; ей не было надобности этого говорить — союз их был решен без всяких сделок. Время ему осуществиться — не вчера, не завтра, не сегодня, а тогда, когда оба они этого захотят, и не будет здесь бесчисленных покровов, какими женщины заурядные любят окутать то, что они называют «*принесенной жертвой*»; они, конечно, знают, сколько они должны потерять, меж тем как для женщин, уверенных, что они проиграть не могут, это праздник, где они торжествуют. В ее словах все было смутно, как обещание, сладостно, как надежда, и вместе с тем внушало уверенность, как обретенное право. Сказать ли? Подобное величие — удел лишь самых выдающихся и изощренных обманщиц, которые сохраняют свою царственность там, где другие женщины становятся покорными. Тут д'Артезу представилась возможность измерить расстояние между теми и другими. Княгиню никогда не покидали ее величественность и красота. Тайна подобного благородства заключается, может быть, в искусстве, с каким знатные дамы умеют отбрасывать покровы, и тут они походят на античные статуи: сохрани они хотя бы один лоскут, они показались бы бесстыдными. Мещанки же всегда стараются

закутаться.

Вдохновляемый нежностью, исполненный самых прекрасных и добродетельных намерений, д'Артез послушался ее и отправился к г-же д'Эспар, ради него пустившей в ход все обольстительные чары своего кокетства. Маркиза остерегалась хоть единым словом обмолвиться д'Артезу о княгине и лишь пригласила его к обеду в один из ближайших дней.

В этот день д'Артез оказался в многолюдном обществе. Маркиза пригласила Растиньяка, Блонде, маркиза д'Ажуда-Пинто, Максима де Трай, маркиза д'Эгриньона, обоих Ванденесов, дю Тийе, одного из самых богатых банкиров Парижа, барона Нусингена, Натана, леди Дэдлей, двух самых коварных атташе посольств и кавалера д'Эспар, одного из самых глубокомысленных персонажей этого салона, главного пособника своей невестки в ее сложной политике.

Максим де Трай, смеясь, спросил д'Артеза:

— Вы часто видите княгиню де Кадиньян?

В ответ на этот вопрос д'Артез сухо кивнул головой. Максим де Трай был светским кондотьером, без стыда и чести, способным на все, он разорял женщин, привязавшихся к нему, заставлял их закладывать для него свои бриллианты, но свое поведение умел маскировать благодаря лоску, обаятельным манерам и сатанинскому уму. Он внушал всем равные страх и презрение, но так как ни у кого не хватало смелости порицать его и всюду его встречала самая отменная учтивость, то он не мог ничего заметить, либо делал вид, что ни о чем не догадывается. Графу де Марсе он был обязан тем предельно высоким положением, на какое он только мог притязать. Де Марсе, издавна знавший Максима, счел его способным для кое-каких секретных дипломатических поручений, которые он и давал ему. Тот всегда исполнял их превосходно. Д'Артезу в последнее время достаточно приходилось иметь дело с политикой, и он не мог не знать насквозь эту личность, однако у него одного хватало мужества громко выражать то, что другие только думали про себя.

— *Это, ферно, из-за ней ви забиль палата*, — сказал барон Нусинген.

— Ах! княгиня — одна из самых опасных женщин, с какими только рискует познакомиться мужчина, — осторожно заметил маркиз д'Эгриньон, — я ей обязан позором моей женитьбы.

— Опасная? — сказала г-жа д'Эспар. — Не говорите так о моей лучшей подруге. О княгине я всегда слышала и знаю только такие вещи, которые говорят о чувствах самых возвышенных.

— Пусть выскажется маркиза, — воскликнул Растиньяк. — Когда красивая лошадь сбрасывает седока, тот обнаруживает у нее всякие недостатки и продает ее.

Задетый этой шуткой, маркиз д'Эгриньон посмотрел на Даниеля д'Артеза и сказал ему:

— Надеюсь, отношения господина д'Артеза с княгиней не зашли так далеко, чтобы разговор о ней оказался неуместным.

Д'Артез промолчал. Д'Эгриньон, не лишенный остроумия, в ответ Растиньяку набросал в самых хвалебных словах портрет княгини, развеселивший гостей. Так как значение насмешек ускользало от д'Артеза, он наклонился к своей соседке, г-же де Монкорне, и спросил ее о смысле этих шуток.

— Кажется, за исключением вас, если судить по вашему доброму мнению о княгине, все приглашенные, говорят, пользовались ее благожелательностью.

— Могу вас заверить, что в этом суждении нет ни капли истины, — ответил Даниель.

— Но вот вам господин д'Эгриньон, першеронский дворянин, который тому двенадцать лет совершенно разорился для нее и чуть не попал на эшафот.

— Я об этом знаю, — сказал д'Артез. — Госпожа де Кадиньян спасла д'Эгриньона от суда присяжных, и вот как он сегодня благодарит ее.

Госпожа де Монкорне посмотрела на д'Артеза, почти растерявшись от любопытства и удивления, затем перевела взгляд на г-жу д'Эспар и сделала ей знак, словно говоря: «Да его околдовали!»

Во время этого короткого разговора г-жа д'Эспар защищала г-жу де Кадиньян, но защиту

ее можно было уподобить громоотводам, притягивающим молнию. Когда д'Артез вновь прислушался к общему разговору, он услышал, как Максим де Трай произнес следующее изречение:

— У Дианы развращенность не следствие, а причина; может быть, ей она и обязана своими очаровательными качествами; она не ищет, ничего не выдумывает; самые утонченные выдумки она умеет выдать за вдохновение простодушной любви, и вы не в силах не поверить ей.

Эта резкая фраза, точно предназначенная для человека силы д'Артеза, прозвучала как приговор. Все отвернулись от княгини, казалось, она уже уничтожена. Д'Артез насмешливо посмотрел на г-на де Трай и д'Эгриньона.

— Самая большая вина этой женщины, — сказал он, — заключается в том, что она идет по стопам мужчин. Подобно им, она расточает состояния, принадлежащие женам, заставляет своих любовников обращаться к ростовщикам, присваивает приданое, разоряет сирот, продает с молотка старые замки, внушает и, может быть, совершает преступления, но...

Никогда еще ни одному из двух лиц, которым отвечал д'Артез, не приходилось слышать такой отповеди. Последнее «но» поразило всех обедавших, вилки замерли в воздухе, глаза попеременно устремлялись то на мужественного писателя, то на обвинителей княгини; все в зловещем молчании ждали развязки.

— Но, — сказал д'Артез с насмешливой легкостью, — у княгини де Кадиньян есть перед мужчинами одно преимущество: если кто-либо для нее подвергся опасности, она его спасает и ни о ком не говорит дурно. Почему бы среди всех женщин не найтись одной, которая позабавилась бы за счет мужчин, как мужчины забавляются за счет женщин? Почему бы прекрасному полу время от времени не платить им той же монетой?

— Гений сильнее остроумия, — сказал Блонде Натану.

Этот поток эпиграмм был в самом деле как огонь батареи, отвечающий пальбе из ружей. Тему разговора поспешно переменили. Ни граф де Трай, ни маркиз д'Эгриньон не были как будто расположены искать ссоры с д'Артезом. Когда подали кофе, Блонде и Натан подошли к писателю с поспешностью, которой никто не посмел последовать, настолько было трудно совместить восторг, вызванный его поведением, со страхом нажать себе двух могущественных врагов.

— Сегодня мы не впервые убеждаемся в том, что ваш характер в благородстве не уступает вашему таланту, — сказал Блонде. — Вы здесь вели себя не как человек, а как бог: не дать себя увлечь ни своему сердцу, ни своему воображению; не встать на защиту любимой женщины, когда от вас ждали этой ошибки, а она дала бы возможность торжествовать всем этим людям, снедаемым завистью к литературной славе... О! — позвольте мне сказать — это верх житейской дипломатии.

— Вы поистине государственный человек, — сказал Натан. — Отомстить за женщину, в то же время и не защищая ее, — это не только трудно, но требует величайшего искусства.

— Княгиня — одно из главных лиц в легитимистской партии, так не является ли ее защита при любых обстоятельствах долгом каждого порядочного человека? — холодно ответил д'Артез. — То, что ею сделано для своих государей, могло бы извинить жизнь самую рассеянную.

— Он не открывает своей игры, — сказал Натан Эмилю Блонде.

— словно княгиня этого стоит, — ответил присоединившийся к ним Растиньяк.

Д'Артез отправился к княгине, ожидавшей его с живейшей тревогой. Исход этого испытания, которому Диана сама способствовала, мог оказаться для нее роковым. Первый раз в жизни сердце этой женщины страдало, и она была как в лихорадке. Она не знала, на что решиться, если д'Артез поверит свету, который говорил правду, а не ей, которая лгала; ведь никогда еще не приходилось ей встречать характер столь прекрасный, человека такого цельного, душу столь открытую, совесть столь незапятнанную и держать это в своих руках. Только желание познать истинную любовь заставило ее сплести всю эту чудовищную ложь. Княгиня чувствовала, как эта любовь восходит в ее сердце, она уже любила д'Артеза; но она

была обречена его обманывать, ибо хотела быть для него всегда бесподобной актрисой, разыгравшей перед ним весь спектакль. Услышав шаги Даниеля в столовой, она вздрогнула, и ее волнение достигло высшего предела. За всю свою жизнь, полную приключений, опасных для женщин ее круга, она еще не испытывала такого смятения и поняла теперь, что ставила на карту свое счастье. Глаза ее, обращенные в пространство, сразу оглядели д'Артеза; она видела его насквозь, она читала в его сердце; подозрение, подобное летучей мыши, даже не задело его своим крылом. И тогда у нее отлегло от сердца, радость едва не задушила Диану, счастье охватило ее; ведь нет такого существа, у которого не оказалось бы больше сил перенести горе, чем устоять в великой радости.

— Даниель, меня оклеветали, и ты за меня отомстил! — воскликнула она, поднявшись ему навстречу и открывая свои объятия.

Д'Артез стоял, глубоко пораженный этими словами, корни которых оставались для него скрытыми, пока княгиня не протянула к нему свои прелестные руки, не взяла его за голову и целомудренно не поцеловала в лоб.

— Как могли вы узнать?..

— О мой простодушный гений! Да разве ты не видишь, что я тебя люблю безумно?

С этого дня разговоры о княгине де Кадиньян и о д'Артезе прекратились. Княгиня получила в наследство от своей матери некоторое состояние, каждое лето она проводит на вилле в Женеве вместе с великим писателем и возвращается зимой на несколько месяцев в Париж. Д'Артез показывается только в палате, и его произведения появляются чрезвычайно редко. Развязка ли это? Да, с точки зрения людей умных; нет — для тех, кто хочет все знать.

Жарди, июнь 1839 г.